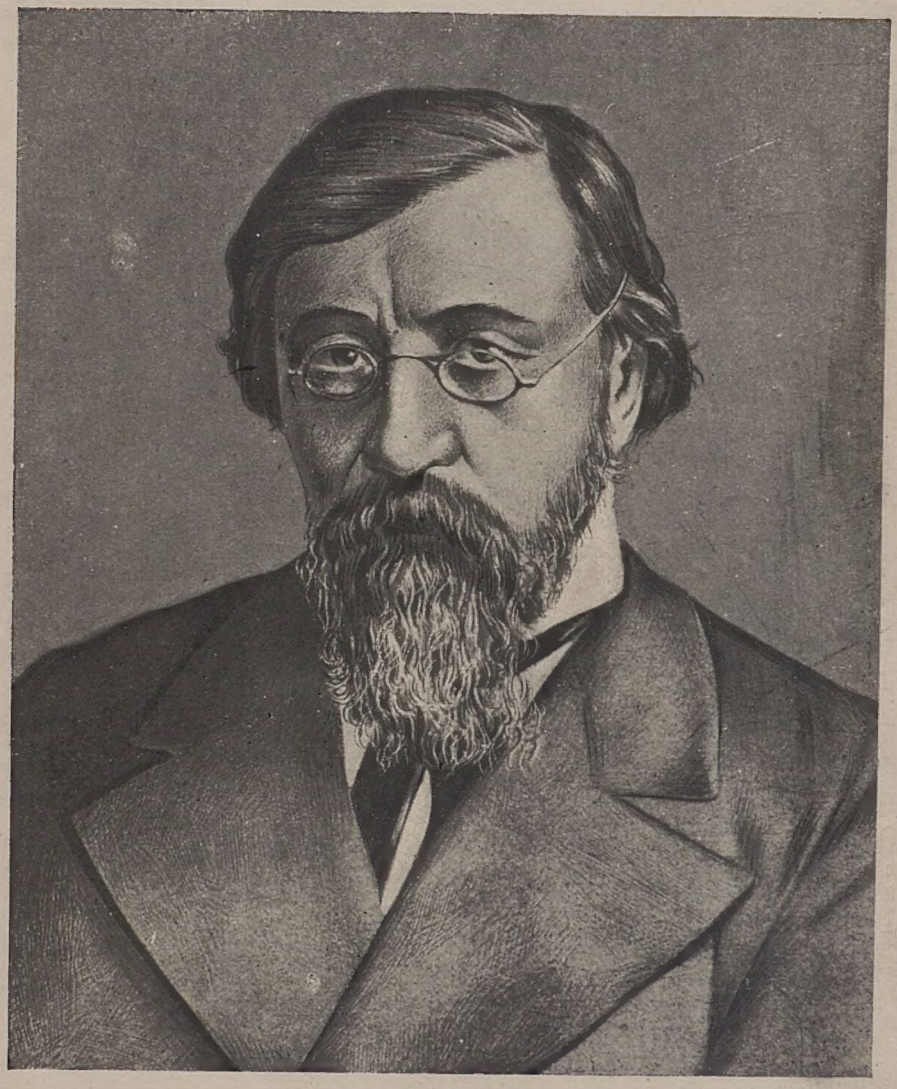
ЕН 141
4-535
КТ

Л. Б. КАМЕНЕВ

ЧЕРНЫШЕВСКИЙ

ОГИЗ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
1934

2 экз



Н. Г. Чернышевский

Л. Б. Каменев

ЕН 141
Ч-535₂

ЧЕРНЫШЕВСКИЙ

Второе исправленное
издание

Государственное
Социально-Экономическое Издательство
Москва 1934 Ленинград

Работа Л. Б. Каменева является одной из самых серьезных, глубоких и интересных работ о Чернышевском.

Свежесть и яркость языка ставят последнюю в ряды тех немногочисленных книг, которые с одинаковым успехом и интересом могут быть читаемы и квалифицированными научными кадрами и широкими трудящимися массами.

Автор рассматривает Чернышевского, его жизнь, революционную деятельность и научные взгляды с момента поступления его в университет до последних его дней.

В книге подробно анализируется роль Чернышевского как идеолога крестьянской революции, духовного вождя и идейного вдохновителя разночинцев, его философские, эстетические и литературные взгляды, его влияние на современников и последующие поколения, его трагическая судьба и т. д.

В конце книги приложена библиография.

ЕН141
4-535
2
БИБЛИОТЕКА
И. ЭЛ.
при ЦК ВКП(б)
сф
5089
1058464

Редактор И. Фролов Технический редактор Л. Кошутина.

Сдано в набор 2/VI—34. Подписано к печати 21/IX—34. Формат 82×110/32, печ. л. 13, зн. в печ. л. 36400. Тираж 10.000 № Огиза 1365. Уполномоченный Главлита Б 39146.

Типо-литография им. Воровского, ул. Дзержинского, 18. Н. 385

С ним нельзя было шутить идеями.

Чернышевский о Гоголе.

Иди и гибни безупречно:
Умрешь не даром. Дело вечно,
Когда под ним струится кровь.

Чернышевский о Добролюбове.

(Из Некрасова)

Думая об этих десятках миллионов нищих, я радуюсь тому, что без моей воли и заслуги придано больше прежнего силы и авторитетности моему голосу, который зазвучит же когда-нибудь в защиту их.

Чернышевский о себе.

Беззаветная преданность революции и обращение с революционной проповедью к народу не пропадет даже тогда, когда целые десятилетия отделяют посев от жатвы.

Ленин.

ОТ АВТОРА

Взгляды Чернышевского неоднократно излагались. Жизнь его рассказана в толстых исследованиях и популярных брошюрах. Маркс в предисловии к «Капиталу» назвал его «великим ученым и критиком» капитализма. Ленин охарактеризовал его суждения как «гениальные провидения» и незыблемо установил его великую роль в истории социалистической мысли и русской революции. Со дня ухода Чернышевского с литературной и политической арены прошло семьдесят лет. Коренным образом изменилось за это время лицо его страны.

Почему же мы вновь и вновь обращаемся к нему? Чего ищем в нем? Великую могилу? — Нет! Великую веху со-

временности. Чернышевский — залог Октябрьской революции за шестьдесят лет до ее первого выстрела. Он не был ни марксистом в теории, ни коммунистом в практике, но путь от него лежал только к Октябрю.

Оглядываясь на прошлое страны, вождь Октября не мог найти в нем никого столь близкого ему по духу, как автор воззвания «К барским крестьянам». «К Чернышевскому Владимир Ильич чувствовал какую-то непосредственную близость» *, — это неслучайно запомнилось соратнику Ленина. Близкий Ленину, он близок и всей эпохе Ленина, близок и всем нам.

В той истории России, которая поставит своей задачей рассказать, *как и почему* в этой стране стал неизбежен Октябрь, Чернышевскому — мыслителю и человеку — будет уделена одна из первых и крупных глав. К нему тянет присмотреться ближе, чтобы понять кое-что дополнительно в Ленине, в Октябре, в нашей эпохе.

Его воспринимаешь не только как «своего», но и как живого, и потому так трудно писать о нем, как о давно отошедшем прошлом. И еще труднее преодолеть мысль, что пера историка и публициста недостаточно, чтобы восстановить в памяти современников прекрасный образ этого человека. Он писал о Лессинге — *«личность этого человека так благородна, величественна и вместе так симпатична и прекрасна, деятельность его так чиста и сильна, влияние так громадно, что чем более всматриваешься в черты этого человека, тем сильнее и сильнее проникаешься любовью к нему. Гениальный ум, благороднейший характер, твердость воли, пылкость и нежность души, сердце, открытое сочувственно ко всему, что прекрасно в мире, сильные, но чистые страсти, жизнь без тени порока или упрека, полная борьбы и деятельности — все, чем может быть прекрасен и велик человек, соединилось в нем»*. Эти слова целиком применимы к Чернышевскому.

---

* Из воспоминаний Н. К. Крупской.

I. ЗАВЯЗАННЫЙ УЗЕЛ

1. МЕЖДУ САРАТОВЫМ И ПЕТЕРБУРГОМ

18 мая 1846 год жена саратовского протоиерея Евгения Егоровна Чернышевская отправилась в Петербург: она везла своего старшего сына Николая, только что покончившего с семинарской учебой и собиравшегося поступить в Петербургский университет. Ехали на лошадях. До Петербурга доехали через месяц. «При отсутствии у повозки рессор даже у меня грудь и тело болели от постоянной тряски и ушибов; что же сказать про маменьку, — писал Николай отцу с дороги. — Да сверх того, еще неудовольствия с извозчиком, от которых маменька плакала раза три в день». По дороге останавливались в домах священников, товарищей отца по учению и службе, а в Петербурге новоприбывшие попали сразу в среду земляков-саратовцев. Здесь жил Александр Федорович Раев, тоже сын саратовского священника; он оканчивал университет, вскоре поступил на государственную службу, служил благонравно и упорно, занимал видное место при синоде и умер членом совета министерства финансов. Здесь жил и кончал духовную академию Иван Григорьевич Терсинский, сын священника Саратовской губернии, муж двоюродной сестры Чернышевского: это был человек положительный и строгих правил, тридцать лет впоследствии он заправлял делами святейшего синода и генеральствовал над сельскими попами. «В домашней жизни часы досуга любил посвящать чтению слова божия, а из светских — чтению латинских классиков». Во II отделении собственной его императорского величества канцелярии служил саратовец Олимп Яковлевич Рождественский — сомневаться в его духовном происхождении и высоких житейских правилах было бы грешно. Вы-

соко над этой колонией саратовцев в Петербурге возвышался Федор Лукич Переверзев, бывший саратовский губернатор, а ныне член совета министерства внутренних дел. А. В. Никитенко, цензор и профессор, писал о нем: «Я знаю его лично. Это — глубокий невежда, к этому же нетрезвый». По должности и из внутренней потребности он занимался государственными вопросами и проявил здесь незаурядную решительность и систематичность суждений. В 1856 году он составил объемистую записку в защиту крепостного права, отрывки которой опубликовал «Колокол» в заметке под заглавием «Федор Переверзев — вития рабства». Тайный советник писал здесь между прочим: «Некоторые думают, что начало истинного благоденствия крестьян есть обучение их грамоте. Способ сей полезен в племенах Готфского происхождения и лютеранского исповедания, а у племен Славянских он оказывает дурные последствия. Грамотность наших крестьян отклоняет их от сохи и делает их развратными»[1].

Выше этого главы колонии саратовцев в столице стоял лишь сенатор Кузьма Григорьевич Репинский, земляк Г. И. Чернышевского и товарищ его по семинарии, выдвинутый в свое время Сперанским и затем неуклонно шествовавший вверх по ступеням лестницы чинов и почестей. Он был ласков с сыном своего товарища, но Николай Чернышевский стеснялся бывать у него без парадного мундира.

Саратовский протоиерей и его жена могли, таким образом, не беспокоиться о судьбе своего сына в Петербурге: столица разворачивала перед последним целую галлерею высоких образцов истинного благочестия и разумно устроенных карьер. Надо было только не уклоняться от проложенных путей.

Семейное гнездо снабдило юношу всем необходимым для следования по этим путям. Юноша был благонравный, благоразумный; почтительный сын; трудолюбив, религиозен. Семья была не богата, но достаточна; сыну была обеспечена возможность учиться и жить в Петербурге скромно, но без больших лишений. Семья была религиозна в меру, ровно настолько, насколько требовалось это официальным положением отца — исполнительного и строговатого чиновника духовного ведомства, но не фанатика, не мистика, не аскета. Матвей Иванович Архаров, родственник

[1] Все ссылки на источники см. в конце книги, после текста.

семьи, тип ханжи и религиозного лицемера, «видел, — вспоминал впоследствии Чернышевский, — прискорбную необходимость рассматривать предметы в беседах с нашей семьей и другими нашими родными исключительно с земной точки зрения. Духовный смысл никак не вклеивался в эти разговоры. Все мы были духовные люди, или... тесно связанные с ними люди; церковь, священник, обедня, архиерей, пост, исповедь и принадлежащие к тому же кругу жизни слова, конечно, составляли чрезвычайно значительную долю произносимых нами слов, и понятия, им соответствующие, составляли, может быть, целую половину наших мыслей. Но все это занимало нас исключительно со стороны совершенно неудовлетворительной для Матвея Ивановича. Церковь, — это было у нас преимущественно «наша церковь», то есть Сергиевская, в которой служил мой батюшка; например, «белить церковь» — вероятно, наша семья столько же толковала об этом вопросе, сколько о том, делать ли вновь деревянную кровлю на нашем доме, когда прежняя изветшала, или крыть дом железом... «Священник» — это был у нас чаще всего Яков Яковлевич, товарищ моего батюшки по «нашей церкви», прекрасный человек которого обидели, отставив от должности эконома при семинарии, чтобы отдать эту должность тоже священнику НН, о котором предсказывалось (и сбылось), что он растратит казенные деньги; и все другие священники, и дьяконы, и дьячки, и пономари занимали нас все с таких сторон»[2].

Это была как раз та форма и степень религиозности, которая нужна была хозяину саратовского протоиерея, крепостному государству: возведенное в степень непререкаемого, свыше данного закона исполнение ряда обрядов, дисциплинирующих сознание и волю масс.

На той же стадии развития находились и общественные взгляды саратовского семейного гнезда.

Бабушка рассказывала: однажды у дома ее отца остановилась богатая карета и вышедший из нее барин предложил семье взять на воспитание младенца. Предложение было принято. «Мы с бабушкой были люди очень строгих нравственных понятий и беспощадно строги к уклонениям даже и мущин (не говоря уж о женщинах) с пути добродетели, — вспоминал Чернышевский. — Мы распространяли свое отвращение и на плоды, рождающиеся от таких уклонений. Бабушка не называла эти незаконно происшедшие

существа иначе, как словом, которое было бы более эффектно, нежели прилично в печати. И ведь мы очень понимали, что эти барин и барыня ушли с пути добродетели, и младенец, драгоценный нам, порожден не добродетельно. Что ж это мы совершенно не хотели замечать этой возмутительной для нас стороны дела? Несправедлив к нам был бы тот, кто приписал бы это шопоту нашего корыстолюбия или честолюбия: «закрывай глаза», нет, мы не закрывали глаз, наши глаза, совершенно открытые и очень внимательно смотревшие, не видели, не могли видеть того, что следовало бы, кажется, заметить. Наши нравственные принципы допускали наше зрение видеть тут только почтенное. Как так? Вот как: да разве могли мы судить таких важных людей, как этот барин и женщина, ехавшая с ним? «Такие люди ничего дурного не делают», — это был наш твердый принцип: *чем ниже, тем хуже; чем выше, тем лучше, и на известной высоте все прекрасно, — мы были тверды в этом*» [3].

Вспоминая этот бабушкин рассказ много лет спустя, Чернышевский вспоминал и другой «анекдот», рассказанный ему уже в 1856—1857 годах его другом Сигизмундом Сераковским, повешенным через несколько лет за участие в польском восстании. Рассказ относится к тому времени, когда сданный в солдаты Сераковский отбывал в Оренбургских батальонах наказание за попытку в 1848 году связаться с революционным движением в Австрии. Вот как передал «анекдот» Сераковского Чернышевский.

«Однажды, сидя в казарме, стал он (Сераковский) вслушиваться, как солдат, готовясь к смотру, твердит «словесность». — «Словесность» — это значит «пунктики», а «пунктики» — это значит: изложение основных понятий о звании и обязанности солдата, которое надобно солдату знать твердо, потому что начальники, приезжающие осматривать войска, должны удостовериться, между прочим, и в этом, и спрашивают у солдат эти «пунктики». Один из пунктиков служит ответом на вопрос: «Что нужно солдату?» — и начинается так: «Солдату нужно немного: любить бога, царя и отечество» и т. д. Вот мой знакомый слушает, солдат твердит: «Солдату нужно — остановка — немножко любить бога, царя и отечество. В другой, в третий раз — все то же самое: «Солдату нужно: немного любить бога» и прочее. «Ты, мой друг, не так учишь, надобно вот так: «Солдату нужно немного», — это значит, что

немного требуется от солдата, что обязанность у него легкая и вот какая: «любить бога, царя, отечество», — а любить их надобно усердно, учи же так: «Солдату нужно немного», — знакомый делает остановку в голосе, — «любить бога, царя и отечество». — «Так, как вы говорите, выходит больше толку, но фельдфебель показывал так, как я учу», сказал солдат... Мой знакомый пошел к ротному командиру. Ротный командир был человек очень простого образования или вовсе никакого. «Солдаты учат пунктики вот как». — «Я и сам знаю пунктики так, как они, а не так, как говорите вы. Так написано. Ступайте к батальонному командиру, я не могу переменить», Правда. Мой знакомый пошел к батальонному командиру. И тот то-же: «Я сам так знаю пунктики, как они. Должно быть, что так написано в списке, который прислали нам из корпусной канцелярии». — «Посмотримте, так ли». «Посмотрим, в самом деле», — сказал батальонный командир, призвал писаря, писарь нашел, принес подлинный список, который должен служить основанием для всех копий, посмотрели, — точно, и в нем так написано: «Солдат должен» — две точки — «немного любить» и т. д. Выше батальонного не было начальника на сто верст, а может быть, и на пятьсот кругом, — итак, батальонный командир, тоже человек простой, не мог отправить моего знакомого к высшему начальству за разрешением, должен был решить вопрос о «словесности» сам. Мой знакомый стал объяснять то, что объяснял своему товарищу. Батальонный командир, конечно, так же понял, что манера знакомого более идет к делу, чем та, которую он называет ошибочною. «Но позвольте, однако ж, надобно еще подумать», — сказал он. Подумал несколько минут и сказал: «Нет, написано так; ошибки нет». — «Как нет? Как же солдату учить, что ему нужно только немного, не сильно, а слабо любить бога, царя и отечество? Это против смысла». — «Нет, я теперь увидел, в этом-то и есть настоящий смысл. Вы не русский, так вам это и кажется не так; и точно, для вас не так, вам нужно много любить бога, царя и отечество, потому что если вы не будете любить их много, то вы не будете хорошо служить. А для нас, русских, и немножко любить их уже довольно. Поняли теперь? Мы русские, что нам много об этом заботиться? Это у нас само собою, врожденное, не то, что у вас, нам нечего об этом хлопотать». Так и осталось: «солдат должен» — две точки, пауза — «немного любить» и прочее.

Я нахожу в этой истории — экстракт русской истории, по крайней мере, за последние 375 лет, если не больше; в батальонном командире — олицетворение русской нации за все это время. Он был, как видно, не очень ученый человек, — но уже кое-что знал; он имел понятие о том, что за штука двоеточие... Но именно знание-то силы двоеточия подкупило батальонного командира: будь он человек безграмотный, ему не на чем бы упереться против здравого смысла... Батальонный командир не был орел — и мы тоже не орлы, а люди; но он не был глуп, хоть и решил дело глупее дурака, — нет, на это решение нужна была порядочная и порядочная тонкость ума, — нужно было гораздо больше ума, чем было достаточно для здравого решения дела; отчего же это он так странно решил?.. Две точки поставлены на этом месте; следовательно, вся сила ума должна быть обращена уже на то, чтобы убедить себя и других в красоте и основательности их стояния на этом месте» [4].

Что нового могла прибавить семинарская учеба к запасу нравственных правил и общественных взглядов, вынесенных из семьи и сконцентрированных в этих двух великолепных положениях:

Чем ниже, тем хуже; чем выше, тем лучше, и на известной высоте все прекрасно.

Две точки поставлены на этом месте; следовательно, вся сила ума должна быть обращена уже на то, чтобы убедить себя и других в красоте и основательности их стояния на этом месте.

Хитрые семинарские науки — гомилетика, экзегетика, нравственное и всяческое другое богословие — не имели другого содержания, как упрочение в сознании детей русских дьяконов и попов мысли о «красоте и основательности» однажды поставленных на своих местах «точек», о том, что «чем ниже, тем хуже», а на известной высоте — «все прекрасно». В этих обрывках византийской схоластики, перелицованной на язык российской «зауми», в этой «смеси Голубинского и Феофана Прокоповича с Ролленом в переводе Третьяковского» — по слову Чернышевского — николаевская монархия имела хорошо служившее ей оружие обуздания и дисциплинирования сырых мозгов своих будущих служителей. Большие и малые Магницкие и Руничи, все эти Раевы, Терсинские, Рождественские, Репинские и «витии рабства» Переверзевы прошли эту школу.

Но этот тигель для плавки будущих идеологов и слу-

жителей дворянской монархии — со всех сторон был охвачен совсем другой, чуждой и враждебной ему стихией. «Жизнь моего детства, — писал впоследствии Чернышевский, — была погружена в жизнь моего народа, которая тогда охватывала меня со всех сторон» [5].

2. САРАТОВ

Жизнь народа, которая охватывала «со всех сторон» детство Чернышевского, была очень своеобразна. В любом справочнике можно, конечно, найти данные об экономическом и бытовом укладе Саратовской губернии первой половины XIX века. Не трудно поместить этот уклад в соответствующую клетку «экономической истории» России. Любопытнее посмотреть на него глазами «охваченного» им юноши, подглядеть, что непосредственно отпечатлелось в его памяти, без помощи книг и обобщений вошло в его сознание. Из схемы выступят тогда конкретные черты; эпоха «экономической истории России» заиграет индивидуальными красками.

«В конце прошлого века, — записал Чернышевский, — одна западная сторона Волги и имела население; левая сторона тогдашней Саратовской губернии... стала населяться нашими обыкновенными русскими почти уже только на моей памяти; прежде там были только немецкие колонии да полоса малорусских поселений, основанных правительством для возки соли с Елтона в Камышин, из Камышина в Саратов, — да раскольничьи монастыри на Иргизе, еще и во времена Александра Павловича высовывавшиеся в степь очень далеким аванпостом, дорога к которому была через степь, и селились подле этих своих знаменитых монастырей раскольники, да селились тоже по Иргизу молокане, пользуясь отдаленностью от регулярного административного действия.

Это были только оазисы среди степи. Да и правая сторона Волги, которая одна имела сплошное население, была даже и вначале XIX века населена слишком негусто. Люди, родившиеся около 1790 года, еще помнили, что мужик разъезжал по полю, куда глаза глядят, выбирал место, какое распахать... По степям и лесам были изредка разбросаны большие села, да на многие версты, иногда на десятки верст от такого села и друг от друга, были разбросаны хутора, выселки от этих больших сел...».

«Солидных больших шаек формальных разбойников не было у нас уже и в 30-х годах, которые я помню. Но во времена прабабушки, в конце прошлого века, такие шайки были, с прочными, укрепленными жилищами — вроде городков или деревянных фортов, в лесах нагорной стороны Волги» 6—7.

То, что со всех сторон охватывало детскую жизнь Чернышевского, было — неустоявшаяся, бродящая мужицкая Русь. Ее передергивали разнообразные и все незавершенные процессы — колонизационный, гнавший толпы крестьян из обжитого центра — центра крепостной барщины — в привольные степи за вольной землей; процесс закрепощения, ибо за искателями воли и земли шли помещик и чиновник, неуклонно «укреплявшие» освоенную землю и обрабатывавших ее крестьян за собой и казной; процесс капиталистической переработки людей и отношений, ибо в заволжские степи протягивал уже свои щупальцы мировой рынок и охотно забирал и барскую, и крестьянскую пшеницу.

Основными, доминирующими были отношения рабства: 50% сельского населения Саратовской губернии находилось в крепостной зависимости.

Монархия помещиков-крепостников стремилась всеми мерами овладеть, урегулировать, дисциплинировать, подчинить себе и использовать все противоречивые процессы народной жизни. Но крестьянская стихия глухо бродила и плохо принимала заготовленные для нее штампы экономических отношений, политической жизни и моральных заповедей. Официальной церкви она противопоставляла раскол, рост рационалистических и мистических сект, своих «юродов»; дворянской монархии — мечту о мужицком царе; праву помещиков на землю — твердую уверенность: «земля наша». То, что бродило вокруг Чернышевского, что он мимоходом, попутно, следуя совсем другому плану своих автобиографических заметок, отметил как элемент народной жизни, окружавшей его детство, — были неосознанные, неоформленные, но живые элементы крестьянской войны, тех самых крестьянских войн, которые в той или иной форме неизменно сопровождали в истории разложение феодального строя.

С этой крестьянской стихией у сына саратовского протоиерея была не случайная связь. Она не только «охватывала его со всех сторон». Он уходил туда корнями и кровью.

«В начале последней четверти прошлого века дьякон или

священник неизвестной фамилии переселялся неизвестно откуда, неизвестно куда, только неподалеку от Саратова — вот мое первое генеологическое сведенье... Этот древнейший факт восходит в древность лет на сорок пять дальше того года, в который родился я, — вспоминал Чернышевский. — Переселение было в какое-нибудь село Саратовской губернии... И переселялись из какого-нибудь села тоже Саратовской губернии или разве южных уездов Пензенской... Ехали на телеге; Иван Кириллыч сам заменял себе кучера. Сам же приделал кибитку к телеге для защиты жены и малютки от солнца» [8].

Этот путешествующий на телеге со всем своим скарбом и семьей по полунаселенным степям Приволжья дьякон или священник, не обзаведшийся еще и фамилией, вряд ли многим отличался по образу жизни и взглядам от своей крестьянской паствы. Об отце своего отца Чернышевский не мог сказать и того, что рассказал об Иване Кирилловиче. «Кто он был, дьякон или дьячок — кажется дьякон, не ручаюсь». Во всяком случае и он не имел еще надобности в фамилии. Фамилия понадобилась только отцу Николая Гавриловича, когда он поступил в семинарию; назвали его Чернышевским по деревне Черныши, из которой он явился на учебу. Он и в протоиерейском чине был еще по отзыву сына — «опытным пахарем» [9].

Эти безыменные дьячки, дьяконы и сельские попы глухих провинциальных углов конца XVIII и начала XIX века были еще плоть от плоти и кость от кости землепашцев. Государство и церковь старательно выколачивали из них крестьянскую традицию, крестьянские симпатии, крестьянские верования. Но, вынужденные держать их на нищенском положении, они не всегда справлялись со своей «цивилизаторской» миссией. Цепкий и точный мужицкий ум, дисциплинированный жестокой учебой, настойчивая, упорная воля, воспитанная тяжким трудом поколений, реализм воззрений, продиктованный опытом трудовой жизни, внятное чувство кровной связи с бьющейся кругом в темноте и нищете крестьянской массой переживали иногда изменение официального положения.

Внук сельских дьячков и дьяконов, пахавших землю, Николай Чернышевский перенял это крестьянское наследство, живое еще в его семье. Не все, но некоторые черты этого наследства успел отметить он сам в своих автобиографических записях. «Я имел в жизни элементы, — писал

ой, — учащие меня, что сапоги всмятку не кушанье, а дрянь. Один из этих элементов я теперь начинаю показывать вам. Это — семья, в которой прошло мое детство. Я рано стал смотреть свысока на ее понятия, и со стороны логики, теории, был совершенно прав... Но они не были теоретики — они были люди обыденной жизни, настолько придирчивой к ним своими самыми не пышными требованиями, что они никак не могли ни на два часа сряду отбиться от нее, сказать ей: ну, теперь ты удовлетворена, дай мне хоть немного забыть тебя, — нет, нет, она не давала, не давала им забыть о себе.

А были они люди честные (потому-то она и была придирчива к ним). И, вырастая среди них, я привык видеть людей, поступающих, говорящих, думающих сообразно с действительной жизнью. Такой продолжительный, непрерывный, близкий пример в такое время, как детство, не мог не помогать очень много и много мне, когда пришла мне пора теоретически разбирать, что правда и что ложь, — что добро и что зло»[10].

Эти слова только намек. В них выделена только одна черта — реализм жизненных воззрений — из того наследства, которое Чернышевский получил от своих крестьянских или живших среди крестьянства предков. Общая сумма крестьянского наследства в Чернышевском была много больше. И она сказалась целиком, когда пришла ему пора «теоретически разбирать... что добро и что зло». Добром оказалось то, что было бы добром для широких крестьянских масс; все прочее — оказалось злом.

Клячи, в течение месяца по российскому бездорожью тащившие возок из Саратова в Петербург, везли благонравного, почтительного, религиозного сына протоиерея. Но это был только фасад. Саратовская — «страшная тогда», по слову Чернышевского, — глушь в том же возке транспортировала в столицу Росссийской империи неосознанные, неоформленные, но живые, растущие элементы крестьянского протеста, крестьянского недовольства, крестьянского бунта против давившего его государства. Был 1846 год.

3. ПЕТЕРБУРГ

Петербург был тоже только фасадом страны. Герцен, прочитав книгу путешествовавшего по николаевской России иностранца, отметил: «Есть выражение поразительной

верности: un empire de facades... La Russie est policée, non civilisée». «...Империя фасадов... Россия полицеизирована, а не цивилизована»).

В том же 1843 году сам Герцен в памфлете «Москва и Петербург» охарактеризовал последний как город-выскочку, «любимое дитя царя, отрекшегося от своей страны»: «У него нет веками освященных воспоминаний, нет сердечной связи с страной, которую представлять его вызвали из болот; у него есть полиция, присутственные места... двор... гвардия... и он доволен своим удобным бытом, не имеющим корней и стоящим, как он сам, на сваях, вбивая которые, умерли сотни, тысячи работников». Это «живой курган притеснителей, обманщиков, взяточников, связанных между собою дележом грабительства, завершаемых царем и опирающихся на семьсот тысяч живых машин со штыками»[11]. Так рисовался Петербург Герцену, покинувшему его за несколько лет до того, как в него въезжал Чернышевский.

Не было, конечно, города, где бы основные противоречия, в которых билась страна и которые бились в душе Чернышевского, были сконцентрированы в более яркой и беспощадной форме, чем столица николаевской монархии.

Еще Пушкин писал о нем:

Город пышный, город бедный,
Дух неволи, стройный вид...

Противоречие между Петербургом и страной, которое смутно ощущал Пушкин, над которым затем в стихах и прозе много десятилетий билась русская литература, было противоречие между мужицкой Русью и дворянской монархией. Петербург 1846 года, который увидел Чернышевский, был прежде всего резиденцией неограниченного повелителя, средоточием его военного и канцелярского аппарата. Пышная, торжественная, богатая — по крайней мере, со своего казового конца — царская резиденция, с ее дворцами сановников и знати, подобранная, расчищенная, казарменно-подтянутая, противостояла нищей, грязной, деревянной и соломенной России. Монархия Романовых стояла в апогее своего внешнего величия и могущества. В европейских делах слово русского царя было решающим: никто из европейских властителей и их министров не сомневался, что русский самодержец может в подкрепление его поставить армию, которая будет серьезнейшей угрозой для каждого из европейских государств. Европейские революционеры лишь

во власти русского царя видели действительную опору призрачной силы их собственных правительств. Внутри — аппарат управления, изъеденный взяточничеством, протекционизмом, молчалинством, невежественный и чуждый народу, действовал, однако, безотказно, автоматически выполняя сверху указанные задания. Сто тысяч дворян-рабовладельцев,— мои полицеймейстеры, называл их отец Николая I, — каждый на своем участке неукоснительно, не за страх, а за совесть, блюли интересы свои, своего царя и своего государства. Церковь, школа, университетская кафедра, журналистика тысячами голосов прославляли величие и мудрость правительства. «Совесть нужна человеку в частном, домашнем быту, а на службе и в гражданских сношениях ее заменяет высшее начальство», — гласило «Наставление для преподавателей в военно-учебных заведениях», составленное будущим «освободителем крестьян», генерал-адъютантом Николая I, Яковом Ивановичем Ростовцевым.

Для этой — несмотря на все свои прорухи — крепко слаженной и недурно оборудованной боевой машины классового господства все казалось достижимым. Для ее действительного упрочения и безбурного существования недоставало лишь одного — окончательного овладения и подчинения себе крестьянской массы. А с этим-то дело и не ладилось. За время своего царствования Николай собирал шесть секретных комитетов для обсуждения крестьянского вопроса. Пятый из этих комитетов был учрежден в год приезда Чернышевского в Петербург, «для рассмотрения записки министра внутренних дел об уничтожении крепостного права в России» [12]. Не следует, однако, думать, что Николай и его министры, учреждая этот комитет, как и все прочие, были движимы, желанием ликвидировать крепостное право. Нет! Они пытались сохранить его. Но положение крестьян неизменно и неустанно беспокоило их. Когда в конце 1848 года петербургское дворянство нашло необходимым заявить готовность поддержать своего царя в борьбе с революционной Европой, Николай ответил ему: «Господа! Я не боюсь внешних врагов. Но у меня есть внутренние, более опасные. Против них-то мы должны вооружиться и стараться сохранить себя, и в этом полагаюсь на вас». Речь шла о крестьянах.

Ложь государства, церкви, школы, ложь усвоенных инстинктивно понятий нигде не могла обнажиться так легко, быстро, беспощадно, как в Петербурге. Сопоставления на-

прашивались сами собой. Недаром именно в Петербурге возникли под пером Некрасова, самого близкого Чернышевскому поэта, стихи, в свое время с неслыханной силой ударившие по сердцам людей его поколения. Помните:

Вот парадный подъезд...
Раз я видел, сюда мужики подошли,
Деревенские русские люди...
. . . . . .
Загорелые лица и руки,
Армячишко худой на плечах,
По котомке на спинах согнутых,
Крест на шее и кровь на ногах....
. . . . . .
А владелец роскошных палат
Еще сном был глубоким объят...
. . . . . .
Что тебе эта скорбь вопиющая,
Что тебе этот бедный народ...
. . . . . .
Не страшат тебя громы небесные,
А земные ты держишь в руках,
И несут эти люди безвестные
Неисходное горе в сердцах...
. . . . . .
Где народ, там и стон...

В атмосфере царской резиденции противоречия, заложенные в природе внука саратовских и пензенских землепашцев, пробужденные впечатлениями детства, зрели быстро. Под тяжким давлением централизующего полицейского государства элементы сопротивления, протеста, возмущения, бунта крепли и складывались в систему. Очень скоро они прорвали и раздробили без остатка фасад, — благонравие, законопослушность, религиозность протоиерейского сына. Цивилизующая и дисциплинирующая работа государства церкви, школы и их литературы развеялась прахом. Крестьянская стихия взорвала плотины и все перевернула — не иначе, а именно — вверх ногами. Увезенная из Саратога заповедь гласила: «Чем ниже, тем хуже; чем выше, тем лучше, а на известной высоте все прекрасно». Теперь это звучало так: «Чем выше, тем хуже; а на известной высоте все — невыносимая, возмутительная, оскорбляющая все чувства дрянь». Теперь стало ясно: все знаки препинания в жизни расставлены безобразно, рукой невежества, глупости и своекорыстия. Все силы ума должны быть направлены на то, чтобы пересмотреть всю эту дьявольскую игру со знаками препинания и все их сорвать и передвинуть с тех мест, на которых они водружены.

БИБЛИОТЕКА ИМЭЛ ЦК ВКП

II. БОРЬБА ИДЕЙ

1. В ПЕТЕРБУРГСКОМ ПОДПОЛЬЕ

В Петербурге Чернышевский много и усердно учился. Но не в университете. Императорский Санкт-Петербургский университет, на который с другого берега Невы неотступно глядел Зимний дворец Николая, очень быстро разочаровал Чернышевского. Уже через несколько месяцев, осмотревшись в нем, Чернышевский писал отцу: «Выписавши на 100 рублей серебра книг в Саратов, можно было бы приобрести гораздо больше познаний» [13]. И еще: «Читать самому гораздо полезнее, нежели слушать лекции». Он очень скоро пришел к убеждению, что — за единичными исключениями — лекции профессоров вообще хороши для тех, у кого нет охоты и умения читать» [14]. Дело было, однако, не в системе преподавания, а в содержании его. Наука огромного большинства профессоров императорского университета была продолжением семинарской науки.

А Чернышевский искал уже совсем не этого. Над мыслью его тяготел разрыв между саратовской степью и петербургским «курганом», между забитой деревней и плацпарадной цивилизацией, между официальной религией и «действительной жизнью», между должным и существующим.

Петербург не исчерпывался своей «фасадной» функцией. Рядом с Петербургом фасадов, дворцов, канцелярий существовало уже в 40-х годах — еще слабое и узкое — петербургское *подполье*, зачаток, первые ячейки того могущественного подполья, которое уже через два десятилетия потрясало императорский трон.

Пока это было еще подполье мысли, не действия. Пыт-

лива мысль Чернышевского, неудовлетворенная официальной наукой, скоро привела его в соприкосновение с этим подпольем. Бунтарские элементы его мысли только здесь нашли ответы на вставшие перед ней загадки жизни. Ищущая мысль выходца из саратовской деревенской глуши сомкнулась с мыслью, таившейся в столичном подполье. Оно было населено разночинным людом: такими же как Чернышевский сыновьями попов и дьячков, мелкими чиновниками, врачами, литераторами, студентами.

После 14 декабря 1825 года в Петербурге ничего не было слышно о революционном движении, о заговорах или тайных обществах. Но революционная мысль жила. Чем?

М. Е. Салтыков-Щедрин рассказывает об этом так: «С представлением о Франции и Париже для меня неразрывно связывается воспоминание о моем юношестве, то есть о сороковых годах. Да и не только для меня лично, но и для всех нас, сверстников, в этих двух словах заключалось нечто лучезарное, светоносное, что согревало нашу жизнь и в известном смысле даже определяло ее содержание... Я в то время (1845 г. — *Л. К.*) только что оставил школьную скамью и... естественно примкнул к западникам, но не к большинству западников (единственный авторитет тогда в литературе), которое занималось популяризированием немецкой философии, а к тому безвестному кружку, который инстинктивно прилепился к Франции. Само собой разумеется, не к Франции Людовика-Филиппа и Гизо, а к Франции Сен-Симона, Фурье, Луи Блана и в особенности Жорж Санд. Оттуда лилась на нас вера в человечество, оттуда воссияла новая уверенность, что «золотой век» находится не позади, а впереди нас». Ф. М. Достоевский об этих же годах вспоминал через тридцать лет: «Об огромном движении европейских литератур самого начала 40-х годов у нас весьма скоро получилось понятие. Были уже известны имена многих ораторов, историков, трибунов, професоров... Вдруг возникло новое слово и раздались новые надежды; явились люди, прямо возглашавшие, что дело (революции. — *Л. К.*) остановилась напрасно и неправильно, что ничего не достигнуто политической сменой победителя, что дело надобно продолжать, что обновление должно быть радикальное, социальное» [15]. Другой современник, петербургский учитель и второстепенный литератор тех годов А. П. Милюков, называет имена этих пророков нового слова: «Все, что являлось нового по этому вопросу (по социа-

лизму. — *Л. К.*) во французской литературе, — вспоминал он, — постоянно получалось, распространялось и обсуждалось на наших сходках. Толки о Нью-Ланарке Роберта Оуэна и Икарии Кабэ, а в особенности о фаланстере Фурье и теории прогрессивного налога Прудона занимали иногда значительную часть вечера. Все мы изучали этих социалистов... Сочинения Прудона, Луи Блана, Пьера Леру... вызывали обсуждение и споры» [16].

А. Н. Пыпин, живший вместе с Чернышевским, вспоминал: «Я очень хорошо помню особого рода букинистов-ходебщиков... Эти букинисты с огромным холщевым мешком за плечами ходили по квартирам известных им любителей подобной литературы и, придя в дом... выкладывали свой товар: это бывали сплошь запрещенные книги, всего больше французские, а также немецкие... Сделка совершалась на взаимном доверии» [17]... Среди этой «нелегальщины» виднейшее место занимали французские энциклопедисты и материалисты XVIII века — Фурье, Консидеран, Луи Блан, Прудон, Штраус, Штирнер, Леру, Фейербах. Среди них попадались и первые работы Маркса и Энгельса; были органы социалистической прессы [18].

Вот к этому источнику мысли и приник с жадностью Чернышевский. Кроме книг, он быстро нащупал в окружающей среде и людей — или непосредственно входивших в подполье, как петрашевец А. В. Ханыков, или близких к нему по настроению, как студент из семинаристов В. П. Лободовский и учитель из семинаристов же И. И. Введенский. В этой среде жила, слабо проявляя себя во вне, плохо систематизированная и никак не организованная, но все же живая традиция р у с с к о й революционной мысли. После гибели декабристов она кое-чем обогатилась, а главное — ушла в новую социальную среду, из круга блестящих гвардейских офицеров переселилась в разночинные кружки, гораздо ближе первых стоявшие к крестьянской массе и потому искавшие уже в ней возможной опоры своим надеждам.

Наконец, всего только через полтора года после прибытия Чернышевского в Петербург явился и самый великий из его учителей — революция 1848 года.

Чернышевский в Петербурге жил скромно, почти бедно, рублей на двадцать в месяц. Питался скудно, одевался плохо. Не позволял себе почти никаких развлечений. Ничего не пил. Был — чисто платонически — влюблен в дочь поч-

тового смотрителя, жену своего ближайшего друга, Н. Е. Лободовскую и строго — с большими усилиями — блюл данный себе обет девственности. Все время уходило у него на учебу — книгами, газетами и беседами. «Вечно погружен в свои книги, молчалив, задумчив и словно не замечал ничего, что делалось вокруг него» — вспоминал впоследствии Чернышевского-студента его сожитель.

Это был великий библиофаг, пожиратель книг. В четыре года пребывания в Петербурге (1846—1850) он заложил основательный фундамент своих обширнейших, энциклопедических знаний. И. И. Введенский, большой трудолюбец, многими годами старше Чернышевского, образованнейший представитель русской интеллигенции той эпохи, создатель русского Диккенса, говорил о Чернышевском к моменту окончания им университета: «Это не только милейший, симпатичнейший, трудолюбивейший молодой человек, но и являющийся подчас, для меня по крайней мере, неразрешимою загадкой... в том, что он, несмотря на свои какие-нибудь 23—24 года, успел уже овладеть такою массою разносторонних познаний вообще, а по философии, истории, литературе и филологии в особенности, какую за редкость встретить в другом патентованном ученом... Так что, беседуя с ним... право, не знаешь, чему дивиться, начитанности ли, массе ли сведений, в которых он умел солиднейшим образом разобраться, или широте, проницательности и живости его ума... Замечательно организованная голова!» [19].

Но именно задатков «патентованного» ученого в Чернышевском и не было. Знания, мысли, системы, их столкновения, их отражения в книгах он ценил и любил горячей любовью, но лишь как могучее орудие преобразования жизни. Вне этого они не имели для него притягательной силы. Они были нужны ему как ответы на запросы «действительной жизни», той самой жизни, от требований которой «никак не могли ни на два часа сряду отбиться» миллионы «простых, обыденных, трудовых людей. Его голова была, действительно, замечательно организована. Но одной из самых замечательных черт этой замечательно организованной головы была ее практичность, деловитость — в смысле неустанного стремления к практическому применению накопляемых знаний, в смысле постоянного взвешивания их ценности как орудия воздействия на общественные отношения людей. Это была «замечательно организованная голова», но отнюдь не «патентованного ученого», а *политика*.

Уже на студенческой скамье Чернышевский не пассивно воспринимал знания и мысли, которые разворачивали поглощаемые им книги, а — частью сознательно, частью еще инстинктивно — производил их о т б о р. Это был отбор с точки зрения потребностей и интересов крестьянства, того класса, крупнейшим и могущественнейшим идеологом которого он вскоре выступил.

Сумма идей, учений, систем, частичных мнений и рецептов, которая раскрылась перед ним в петербургском подполье, представляла для этого отбора благодарнейший материал. В своей общей массе они ведь представляли высшую точку развития революционной мысли мелкой буржуазии и прежде всего крестьянской демократии. Это была систематическая, беспощадная, на все фронты развернутая, все области человеческой мысли и чувства охватившая критика феодальной и капиталистической цивилизации. Критика с точки зрения бунтующего против остатков феодализма и начатков капитализма трудящегося народа, критика, поэтому ограниченная в своих перспективах, но гениальная в своем разоблачении «социальной антропофагии», последнее и высшее слово домарксовского материализма и социализма, лучшее и самое смелое из того, что могло сказать о себе, о земле и небе человечество до оформления в его недрах пролетариата и его учения. Сороковые годы в Европе были эпохой высшего расцвета этой критической мысли. Никогда после непролетарская мысль не могла уже подняться до той высоты, смелости, последовательности, на которой она стояла в эту эпоху. Религия, государство, частная собственность, семья, общественная и индивидуальная мораль, вся система общественных отношений были подвергнуты обстрелу. По гениальному выражению одного из каноников, это была — в области идей — эпоха *ликвидации нравственно недвижимых имуществ* [20].

Предлагавшиеся решения были наивны, противоречивы, фантастичны. Они отражали двойственность эпохи и выдвинувшего их класса, европейской мелкобуржуазной демократии. Это была смесь гениального с сумбурным, пережитков прошлого с догадками о будущем, смелого восстания против существующего и неуменья освободиться от его власти, вдохновенного порыва к новому общественному строю и незнания реальных путей к нему.

Но эта смесь как нельзя более соответствовала умственным запросам той части русской интеллигенции, которая

чувствовала себя связанной с крестьянской массой, поднимавшейся против феодального господства.

Для нее в ту эпоху не могло быть лучшей школы.

Протащить русское государство, официальную религию, крепостническую организацию труда и ростовцевскую мораль через чистилище гегелевской логики, фейербаховского материализма, прудонова учения о собственности и луи-блановского учения об организации труда значило превратить в пыль и прах весь идейный цемент дворянской монархии и развеять его раз навсегда по ветру и вместе с тем заложить фундамент революционной и демократической мысли.

История учебы Чернышевского есть история отбора из сокровищницы человеческой мысли того, что было на потребу рождавшейся русской революционной мысли, история вытеснения из его сознания рабских понятий и чувств, привитых средой, школой и церковью, история формирования идеологии русского разночинца, связанного с закабаленной феодализмом крестьянской массой.

Эту историю Чернышевский сам рассказал в своем дневнике. Последний трудно читаем: это подлинное сырье каждодневных записей, где серьезное и важное перемешано с самым обыденным, будничным, не интересным ни с какой точки зрения. Автор не только не подвергал эти записи какой-либо литературной обработке, но нисколько не заботился об их «читабельности» вообще. А между тем, этот документ заслуживает большого внимания. Во-первых, в русской литературе нет другого документа, столь подробно и столь подлинно рисующего процесс формирования психологии и идеологии разночинца-шестидесятника. Это настоящая «история русского молодого человека» середины XIX века, становящегося революционером. Во-вторых, дневник Чернышевского 1848—1850 годов вместе с письмами и статьями Герцена тех же дней являются единственными во всей русской литературе документальными отголосками того влияния, которое на русскую мысль того времени оказывал ход европейских революционных событий. Но Герцен был старше Чернышевского на 16 лет и записывал свои впечатления в Риме, Париже и Женеве. А из нового поколения Чернышевский — единственный, кто оставил нам систематическую запись своих впечатлений от «весны народов», притом запись, ведшуюся в Петербурге.

Увлекательно следить по этим записям, как в самой

берлоге «северного медведя», своей тяжелой лапой помогшего европейским правительствам задушить восстание народов, под влиянием этих восстаний зреет, борется с собственной неуверенностью, побеждает собственные предрассудки и формируется революционная мысль отсталой, задавленной, безгласной страны, орудия «европейского жандарма».

2. МЕЖДУ ХРИСТОМ И ГЕГЕЛЕМ, МЕЖДУ АБСОЛЮТИЗМОМ И СОЦИАЛИЗМОМ

Дальше будет говорить сам Чернышевский. Пусть не удивляется читатель наивности некоторых суждений, восторженности тона, противоречиям, наконец, сожительству несовместимых понятий и убеждений. Это говорит двадцатилетний человек, только что вступивший в общение с величайшими проблемами человечества, только что раскрывший книгу его истории. Надо помнить, что его противоречия и колебания не результат слабости логики или трусости его мысли, а продукт отсталости его страны, примитивности ее общественной структуры, политической и культурной слабости того класса, с которым он больше всего связан, неосознанные, неоформленные интересы которого он представляет. Удивляться надо не тому, что он не все понял, а тому, что он понял *почти все*. Перед нами карта путешествия мужественного и упорного искателя, смело пустившегося в открытое море мысли, в поисках общественной истины.

Он нашел ее для своей эпохи и своей страны.

Чернышевский записывает [21]:

28 июля 1848 г. «Все более утверждаюсь в правилах социалистов».

30 июля 1848 г. Прочитав, что Прудону приписывается выражение: «христианство s'use *, собственность s'usera **, — «может быть, ее станет на 200—300 лет, и пока я ее принимаю, хоть это дурное учреждение в сущности; я верю, что будет время, когда будут жить по Луи Блану: chacun produit selon ses facultés et reçoit selon ses be soins ***. Это необходимо должно быть, когда производство увеличится и собственности не будет в строгом смысле».

---

* Исчерпывается.

** Исчерпается.

*** Каждый производит в меру своих способностей и получает в меру своих потребностей.

2 августа 1848 г. «Обзор моих понятий — *богословие и христианство*. Ничего не могу сказать положительно, кажется в сущности держусь старого, более по силе привычки, но как-то мало оно клеится с моими понятиями... *Политика* — уважение к Западу и убеждение, что мы никак не идем в сравнение с ними, они мужи, мы дети; наша история развивалась из других основ, у нас борьбы классов еще не было, или только начинается; и их политические понятия не приложимы к нашему царству. Кажется, я принадлежу к крайней партии, ультра; Луи Блан особенно, после Леру увлекает меня».

3 августа 1848 г. «Он сильно говорил о том, как бы можно поднять у нас революцию, и не шутя думает об этом: «Элементы, говорит, есть — ведь подымаются целыми селами и потом не выдают друг друга, так что приходится наказывать по жребию; только единства нет...» Мысль о восстании для предводительства у него уже давно». «Он» — В. П. Лободовский, самый близкий в эту эпоху человек к Чернышевскому, его друг и товарищ, которого он ценит страшно высоко, которому предан беспредельно, которого ставит себе в образец.

29 августа 1848 г. Беседа в группе студентов. «Я защищал социалистов, Францию и ее вечные волнения, Прудона».

2 сентября 1848 г. «Читал у Эрша Heber, Herault de Sechelles * и мне показалось, что я террорист и последователь красной республики».

8 сентября 1848 г. После чтения отчетов о расправе контрреволюционной буржуазии с Ледрю-Ролленом и Луи Бланом, обвиненных в содействии и сочувствии майскому и июньскому движениям парижского пролетариата. «Я всегда считал их невинными перед историей... Великие люди!..» Буржуазные республиканцы думают, что «глупостями можно успокоить Францию, а не излечением социальных зол. Эх, господа, господа, вы думаете, дело в том, чтобы было слово республика, да власть у вас, — не в том, а в том, *чтоб избавить* низший класс от его рабства не перед законом, а перед необходимостью вещей, как говорит Луи Блан, чтобы он мог есть, пить, жениться, воспитывать детей, кормить отцов, образовываться и не делаться —

---

* Гебер, Эро де Сешель — деятели Великой французской революции; «у Эрша» — в энциклопедическом словаре Эрша и Грубера.

мужчины трусами или отчаянными, а женщины — продающими свое тело. А то вздор-то! Не люблю я этих господ, которые говорят свобода, свобода — и эту свободу ограничивают тем, что сказали это слово, да написали его в законах, а не вводят в жизнь; что уничтожают законы, говорящие о неравенстве, а не уничтожают социального порядка, при котором девять десятых народа — рабы и пролетарии; не в том дело, будет царь или нет, будет конституция или нет, а в общественных отношениях, в том, чтобы один класс не сосал кровь другого...».

Таково это поистине замечательное резюме уроков 48-го года, сделанное выходцем из саратовской глуши, за тысячи верст от поля битвы, по скудным сведениям, почерпнутым из лживых сообщений буржуазной печати. Не в том дело, что он переоценил «величие» Роллена и учение Луи Блана; замечательно то, что этот двадцатилетний студент российского императорского университета нашел для уяснения смысла великих классовых боев 48-го года формулировки более точные и более глубокие, чем те, которых он почитал тогда своими учителями. Ни доктринерский социалист, противник классовой борьбы Луи Блан, ни тем паче сладенькая копия классических якобинцев XVIII века Ледрю-Роллен никогда не были способны сделать из событий, участниками которых они были, тех глубоких выводов, которые сделал Чернышевский. Из русских же людей так чувствовал и писал в те дни лишь один Герцен и как раз в самом революционном по смыслу и духу из всего когда-либо написанного им, в книге «С того берега».

Под влиянием этих событий в Чернышевском пробуждается и растет мысль о целесообразности самых решительных революционных методов. «Несколько подобных вещей, как решение Национального собрания о Луи Блане и Коссидьере, заставят меня оставить мое убеждение, что не те теперь времена, как в 1793 году, когда казнили все и всех» (запись того же числа).

Любопытна, однако, для характеристики живших еще в сознании Чернышевского противоречий концовка этой записи. Революционнейшие выводы из революционных событий кончаются так: «Да, великую истину говорят Ледрю-Роллен и Луи Блан — не уничтожения собственности и семейства хотят социалисты, а того, чтобы эти блага, теперь привилегия нескольких, расширились бы на всех. О, боже, дай победу истине! Да победит она!» Это поражает наш слух

так же, как если бы нашли цитату из нагорной проповеди в заключительном абзаце «Коммунистического манифеста». Но этот призыв к богу помочь делу революции и социализма не случаен. Пишет ведь сын крестьянской России. Мы увидим еще, что он способен молиться за расстрелянного революционера и Христом обороняться против Гегеля.

12 сентября 1848 г. После дальнейшего ознакомления с ходом прений в парижском Национальном собрании по делу Луи Блана и других: «Странно, как я стал человек крайней партии; мне кажутся глуповаты и странны и смешны, но главное — жалки и пагубны для страны все эти мнения и речи господ приверженцев большинства в настоящем собрании... Народ выше представителей... поэтому народ может сменить свое Собрание, если оно делает не то. Конечно, это принцип, который сам собою разумеется, как же вы боитесь его высказать?.. Одно дело возмущение и распущение Национального собрания буйною, пьяною толпою; другое дело когда страна видит, что нет ей спасения от этих людей и она должна переменить их *.

...Теперь буржуазия, как я увидел, решительно снова берет верх, но и то хорошо, что она берет верх, как хищница, а не — как раньше — по закону: конечно, хищение легче разрушить, чем закон... О, господа! вот как уже далеко зашли вы!

Allez, allez toujours (то есть продолжайте, продолжайте в том же духе)».

Через неделю вновь итоговая запись, замечательно характерная смесь правильных догадок о классовом строении общества (почерпнутых из революционного опыта Европы), высоких стремлений к уничтожению классового господства (подкрепленных изучением социалистов) и наивнейших политических рассуждений, как бы воспроизводящих самые примитивные надежды отсталого крестьянства на «белого» царя. В этой записи две противоречащие друг другу системы общественных взглядов лежат рядом, как два слоя горных пород, порождение двух разных геологических эпох. Результаты внимательного изучения критиков капиталистического строя наивно сопрягаются здесь с отголосками типично феодальных воззрений. Как несколькими

---

* Дело идет о праве народа на разгон Учредительного собрания. Неудавшаяся попытка этого рода была сделана в Париже 15 мая 1848 года.

днями раньше бог призывался на помощь делу революции и социализма, так теперь на неограниченную монархию возлагается миссия быть руководительницей низших классов в борьбе с привилегиями богатых. Но у этих теоретических «сапог в смятку» есть глубокий жизненный корень: противоречивое положение их автора между Парижем, у которого он учится, и Саратовом, из которого он привез наследственный груз верований и понятий. Вся дальнейшая история мысли автора, записанная в его дневнике, будет заключаться в освобождении от этого груза.

«Мне кажется, — записывал Чернышевский 18 сентября 1848 г., — что я стал по убеждениям в конечной цели человечества решительно партизаном социалистов и коммунистов... Я начинаю думать, что республика есть настоящее, единственное достойное человека взрослого правление, и что, конечно, это последняя форма государства. Это мнение взято у французов, но к этому присоединяется мое прежнее, старинное, коренное мнение, что нет ничего пагубнее для низшего класса и вообще для низших классов, как господство одного класса над другим; ненависть по принципу... к аристократии всякого рода... — теперь мое коренное убеждение, которое подтверждено еще более, может быть, словами Луи Блана и социалистов: вы хотите равенства, но будет ли равенство между человеком слабым и сильным; между тем, у кого есть состояние, и у кого нет; между тем, у кого развит ум и не развит? Нет, и если вы допустили борьбу между ними, конечно, слабый, неимущий, невежда станет рабом. Итак, я думаю, что единственная и возможно лучшая форма правления есть диктатура или лучше наследственная неограниченная монархия, но которая понимает свое назначение, что она должна стоять выше всех классов и собственно создана для покровительства утесняемых, а утесняемые — это низший класс, земледельцы, и работники, и поэтому монархия должна искренно стоять за них, поставить себя главою их и защитницею их интересов».

Как бы в параллель к этим отголоскам крестьянских мечтаний о «мужицком царе», защитнике его труда и свободы от феодалов, идет через неделю апология Христа, тоже приноровленная к потребностям «униженных и оскорбленных». «Я, в сущности, решительно христианин, — записывает Чернышевский 25 сентября 1848 г., — если под этим должно понимать верование в божественное достоин-

ство Иисуса Христа, то есть как это веруют православные в то, что он был бог и пострадал, и воскрес, и творил чудеса; вообще, во все это я верю. Но с этим соединяется, что понятие христианства должно со временем усовершенствоваться, и поэтому я нисколько не отвергаю неологов и рационалистов... Мне кажется, что главная мысль христианства есть любовь», и дальше следует наивнейшее рассуждение о том, что догмат любви «не мог быть провозглашен Иисусом Христом в такой ясности, в такой силе... если бы он был просто естественный человек, потому что и теперь еще, через 1850 лет, нам трудно еще понять его».

Две последние записи о роли монархии и о сущности христианства показывают, что теоретическая мысль Чернышевского переживала еще переходный период; он пытается к новым, возникшим перед ним задачам (освобождение человечества от классового господства) приспособить старые, имеющиеся налицо, привычные средства (монархию и господствующее религиозное учение). При этом, неизбежно, содержание последних так изменяется и фактически извращается, что они теряют всякую связь с реальностью. Монархия и христианство Чернышевского — ложные теоретические конструкции, а не реальные исторические понятия. Долго удерживаться на этих позициях реалистическая мысль Чернышевского не могла. Он был вполне подготовлен к восприятию учения, которое топором логики подсекало в корне застрявшие в его уме представления. Оно явилось в виде учения Гегеля.

13 октября 1848 г. Чернышевский записывает: «Мне кажется, что я почти решительно принадлежу Гегелю... меня обнимает некоторый благоговейнейший трепет, когда я подумаю, какое великое дело это решение присоединиться к нему, то есть великое дело для моего я, а я предчувствую, что увлекусь Гегелем».

Предчувствие не обмануло Чернышевского. Гегель потряс и увлек его, и прежде всего, конечно, своей идеей развития через рост противоречий. Оставаясь все еще в пределах религиозных представлений, он готов уже, однако, объявить Гегеля наследником Христа... «Если мы должны ждать новой религии, — записывает он 10 декабря 1848 г., — которая ввергнет меч между отца и сына, между мужа и жены, как христианство... если оно [христианство] должно пасть, не явится уж такая религия, которая объявляла бы себя высшим откровением, а по системе Гегеля —

вечно развивающеюся идеею». И дальше: «...Я буду доказывать общую мысль, что все развивается, происходит через развитие (т. е. когда Гегель будет защищать свою систему)... Таково стремление идей века, и поэтому моя идея превозможет, будет для вас (а может быть и навсегда) истина».

За эту революционную сторону учения Гегеля, за созданную им «алгебру революции» (Герцен) и ухватилось сознание Чернышевского. И, что всего поразительнее, он сумел при первом же ознакомлении с системой великого идеалиста отделить в ней ее революционную тенденцию от ее консервативного применения. А ведь прошло не более десяти лет с того времени, как Белинский и Бакунин нашли в гегелевской системе исчерпывающее оправдание для «примирения с действительностью», для того, чтобы все «нужные места нашей истории превратить в необходимые».

28 января 1849 г. Чернышевский записал: «...В подробностях везде, мне кажется, он раб настоящего положения вещей, настоящего устройства общества, так что даже не решается отвергать смертные казни и проч. ... выводы его робки... [он] плохо объясняет нам, что и как должно быть вместо того, что теперь есть... ...главное то, что его характер, то есть самого Гегеля, не знает этой философии — удаление от бурных преобразований, от мечтательных дум об утопиях, die zarte Schonung des Bestehenden (заботливая охрана существующего)» *.

Самого автора дневника «существующее» привлекает все меньше.

14 ноября 1848 г. После прочтения известия о расстреле Виндишгрецем Роберта Блюма: «Это ужасно, это возмутительно, мое сердце негодует, и дай бог тем, которые подали этот ужасный пример беззакония, поплатиться за это таким образом, который показал бы всему миру тщету и безумство злодейства, да падет на их голову кровь

* Это превосходно уловленная двадцатилетним Чернышевским и вполне правильная характеристика определенных черт гегелевской философии легла в основу всех его дальнейших оценок Гегеля. «Принципы Гегеля, — писал Чернышевский через несколько лет, — были чрезвычайно мощны и широки, выводы — узки и ничтожны... Принимая его принципы, последовательному мыслителю надобно притти к выводам, совершенно различным от выставленных им выводов». Этими словами Чернышевский описал неизбежность появления среди учеников Гегеля Людвига Фейербаха, Карла Маркса и Фридриха Энгельса.

его и прольется их кровь за его кровь! И да падет дело их, потому что не может быть право дело таких людей! На виселицу Виндишгреца и всех!» А через несколько строк: «Молился несколько минут за Блюма, а давно не молился я по покойникам».

Через несколько дней петрашевец и горячий последователь Фурье А. В. Ханыков впервые вручил Чернышевскому книгу Фурье. «Что-то будет из этого начала знакомства с Ханыковым? Заглохнет оно или превратится в обращение меня в фурьериста», — гласит запись 23 ноября 1848 г. Через несколько дней: «Ханыков весьма мил, знакомил меня с новыми общими идеями и дельный человек... Я свяжусь с ним... Я его уважаю как человека с убеждением и сердцем горячим».

Это был решительный момент в углублении критического отношения Чернышевского к современной «цивилизации» и прояснении его смутных социалистических идеалов.

«Виден во всем ум решительно во всем новый, везде делающий не то, что другие... вещи бог знает какие, и высказывает их человек так уверенно», — записывает Чернышевский о Фурье.

27 ноября 1848 г. «Бездействие и нерешительность Франкфуртского собрания мне не нравятся — кажется, оно должно было бы понять, что, произойдя из воли народа, против воли правительства, оно и должно, если не хочет осудить себя на смерть, стоять с народами против правительств... а то эта мелочная осторожность, желание не компрометировать себя, ладить со всеми — э, так нельзя жить. Прусское правительство подлецы, австрийское — подлецы, но этого названия для них мало...»

10 декабря 1848 г. «А что, если мы в самом деле живем во время Цицерона и Цезаря, когда saeculorum novus nascitur ordo* и является новый Мессия, и новая религия, новый мир? У меня, робкого, волнуется при этом сердце, и дрожит душа, и хотел бы сохранения прежнего — слабость! глупость!... Если должно быть новое откровение, да будет оно, и что за дело до волнений душ слабых, таких как моя... Когда хорошенько вздумал об этом и приложил все это к себе, то увидел, что в сущности я нисколько не подорожу жизнью для торжества своих убеждений, для торжества свободы, равенства, братства и довольства, уничтожения

* «Рождается новый строй веков» — слегка измененный стих Вергилия из его IV эклоги.

нищеты и порока, если только буду убежден, что мои убеждения справедливы и восторжествуют, и если уверен буду, что восторжествуют они, даже не пожалею, что не увижу дня торжества и царства их, и сладко будет умереть, а не горько, если только в этом буду убежден».

11 декабря 1848 г. О Фурье: «Он провозгласил первый нам несколько новых мыслей, которые называют нелепыми, а я нахожу решительно разумными и убежден, что будущее принадлежит этим мыслям, например о вреде торговли в теперешнем виде и проч. и проч.» Не забудем, что о Фурье Энгельс писал: «Он дает нам глубоко захватывающую критику существующего общественного строя... Он беспощадно раскрывает всю материальную нищету буржуазного мира». В тот же день. «После [зашел] к Ханыкову, с которым более всего говорили о возможности и близости у нас революции, и он здесь показался мне умнее меня, показавши мне множество элементов возмущения, например, раскольники, общинное устройство удельных крестьян, недовольство большей части служащего класса и проч., так что в самом деле много я не замечал, или, может быть, не хотел заметить, потому что смотрел с другой точки. Итак, по его словам, эта вещь конечно, возможная и которой, может быть, недолго дожидаться. Это меня несколько беспокоило, что, как говорит Гумбольдт о землетрясениях, этот твердый неподвижный Boden *, на котором стоял и в непоколебимость которого верил, видим, мы, волнуется, как вода».

3 февраля 1849 г. «Я все говорил о революции и о хилости нашего правительства, — мнение, которого зародыш положил Ханыков».

4 марта 1849 г. «Ханыков дал Feuerbach's Das Wesen d. Cristenthums [Фейербах. Сущность христианства]... Введение весьма понравилось своим благородством, прямотой, откровенностью, резкостью».

8 марта 1849 г. При известии о роспуске Национального собрания в Австрии: «Хорошо! Хорошо! Будет и на нашей улице праздник и скорее, чем вы думаете! О, как вы слабы, вы, которые в руках, думаете, имеете силу».

25 апреля 1849 г. При известии об аресте петрашевцев: «Ужасно подлая и глупая, должно быть, история; эти скоты, вроде этих свиней Бутурлина и т. д. Орлова

* Фундамент, земля, почва.

и Дубельта и т. д., должны были бы быть повешены. Как легко попасть в историю, — я, например, сам никогда не усомнился бы вмешаться в их общество, и со временем, конечно, вмешался бы».

28 мая 1849 г. «Иисус Христос, может быть, не так делал, как должно было». Если-де он мог освободить человека от физических нужд, то и «должен был раньше это сделать, а не проповедывать нравственность и любовь, не давши средств освободиться от того, что делает невозможным освобождение от порока, невежества, преступления и эгоизма».

13 июня 1849 г. При известии о неудаче попытки восстания в Париже и бегстве Ледрю-Роллена из Парижа: «Эх, если бы с альпийскою армиею Ледрю-Роллен пошел на Париж и война против нас, Германия к Франции приступила б [присоединилась бы] и нас назад, — эх, это бы хорошо!»

11 июля 1849 г. «По привычке... верую в бога и в важных случаях молюсь ему, но по убеждению ли это?... Я даже не могу сказать, убежден я или [нет] в существовании личности бога или скорее принимаю его, как пантеисты, или Гегель, или лучше — Фейербах... [В политике я] красный республиканец и социалист... Если бы мне теперь власть в руки, тотчас провозгласил бы освобождение крестьян... Друг венгров, желаю поражения там русских и для этого готов был бы многим пожертвовать... Надежды или желания: через несколько лет я журналист и предводитель или одно из главных лиц крайней левой стороны... надежды вообще: уничтожение пролетариатства и вообще всякой материальной нужды...»

Мы подходим к концу этой борьбы двух миров в сознании внука пахарей и сына протоиерея, к итогам этой борьбы мысли между Христом и Гегелем, между абсолютизмом и социализмом.

«...С год должно быть назад тому, — записывает Чернышевский 21 января 1850 г., — или несколько поменее писал я о демократии и абсолютизме. Тогда я думал так, что лучше всего, если абсолютизм продержит нас в своих объятиях до конца развития в нас демократического духа, чтоб, как скоро начнется правление народное, правление de jureu de facto перешло в руки самого низшего и многочисленнейшего класса — земледельцы + поденщики + рабочие, — так чтоб через это мы были избавлены от вся-

ких переходных состояний между самодержавием (во всяком случае нашим) и управлением, которое одно может соблюдать и развивать интересы массы людей. Видно, тогда я был еще того мнения, что абсолютизм имеет естественное стремление препятствовать высшим классам угнетать низшие, что это противоположность аристократии, — а теперь я решительно убежден в противном — монарх, а тем более абсолютный монарх, только завершение аристократической иерархии, душою и телом принадлежащее к ней. Это все равно, что вершина конуса аристократии. То когда самая верхушка у конуса отнята, не все ли равно? Низшие слои изнемогают под высшим, будет ли у конуса верхушка или нет, только самая верхушка еще порядком давит на них — и давит чрезвычайно порядочно; это, во-первых, стоит народу много денег и слез и крови, во-вторых — замок в своде, сдерживает, образует, развивает аристократию. Итак, теперь я говорю: погибни, чем скорее, тем лучше; пусть народ не приготовленный вступит в свои права, во время борьбы он скорее приготовится; пока ты не падешь, он не может приготовиться потому, что ты причина слишком большого препятствия развитию умственному даже и в средних классах; а в низших, которые ты предоставил на решительное угнетение, на решительное иссосание средних, нет никакой возможности понять себя людьми, имеющими человеческие права. Пусть начнется угнетение одного класса другим, тогда будет борьба, тогда угнетенные сознают... что их угнетает не бог, а люди; что нет им надежды ни на правосудие, ни на что, и что между угнетающими их нет людей, стоящих за них; а теперь они самого главного из этих угнетателей считают своим защитником, считают святым. — Тогда не будет святых, а будет: ты подлец, взяточник, грабитель, жестокий притеснитель, пиявка, развратник, и ты тоже, и он тоже, и нет между вами никого, кто променяет свой класс на наш класс, кто стал бы за нас против вас... Вот мой образ мысли о России: неодолимое ожидание близкой революции, и жажда ее, хоть я и знаю, что долго, может быть, весьма долго, из этого ничего не выйдет хорошего, что, может быть, надолго только увеличатся угнетения и т. д. — что нужды? — Человек, не ослепленный идеализациею, умеющий судить о будущем по прошлому и благословляющий известные дикости прошедшего, несмотря на все зло, какое сначала принесли они, не может устрашиться этого; он знает, что иного и нельзя ожидать, от людей, что

мирное, тихое развитие невозможно. Пусть будут со мною конвульсии, — я знаю, что без конвульсий нет никогда ни одного шага вперед в истории».

15 мая 1850 г. «Думал о тайном печатном станке... Если напечатать манифест, в котором провозгласить свободу крестьян, освобождение от рекрутчины... И когда думал, что тотчас это поведет за собою ужаснейшее волнение, которое везде может быть подавлено и, может быть, сделает многих несчастными на время, но разовьет таки и так расколышет народ, что уже нельзя будет и на несколько лет удержать его, и даст широкую опору всем восстаниям, — когда подумал об этом, почувствовал какую-то силу в себе решиться на это и не пожалеть об этом тогда, когда стану погибать за это дело... Почувствовал себя личным врагом... так, как чувствует себя заговорщик, как чувствует себя генерал в отношении к неприятельскому генералу, с которым должен вступить завтра в бой, внутренно теперь почувствовал, что я, может быть, способен на поступки самые отчаянные, самые смелые, самые безумные».

Вскоре произошла такая же ревизия старых взглядов в области религии.

Так упорной работой над собой, над итогами человеческой мысли, над фактами развертывающейся перед ним борьбы русских крестьян и европейских рабочих выковал в себе Николай Чернышевский — мыслителя и революционера.

«С ним нельзя было шутить идеями». Раз воспринятая, продуманная, принятая идея заставляла его пересматривать, перестраивать весь свой идейный багаж. Он любил держать его в порядке, не терпел в нем двусмысленностей, недоговоренности, противоречий. Из своего мировоззрения он беспощадно изгнал все остатки старых верований и понятий, выжег из него наследие веков рабства человеческой мысли и воли.

Для этого нужна была не только беспощадная сила мысли и логики. Для этого нужен был особый закал личности. Много лет спустя, в Сибири Чернышевский написал автобиографический роман. В нем он вкладывает в уста своей жены следующую характеристику самого себя:

«Все думали, что он пролежит весь свой век на диване с книгой в руках, вялый, сонный. Но я поняла, какая у него голова, какой у него характер, *потому что без его характера даже и при его уме нельзя было бы так понимать все*

эти ученые вещи». «*Так* понимать», то есть понимать не только в смысле философского созерцания мира, но и в смысле претворения его познания в революционную практику его изменения.

Нехватало только толчка и благоприятных внешних обстоятельств, чтобы накопленная Чернышевским умственная и нравственная энергия перешла в действие. Толчок пришел из глубины страны.

В конце мая 1850 года Чернышевский сдал выпускные университетские экзамены и в начале следующего года уехал в Саратов на место преподавателя местной гимназии.

III. В ГЛУБИНЕ РОССИИ

А там, во глубине России,
Там вековая тишина...

Некрасов (1857)

Несчастная Русь! сколько страдальческой крови пролито на пажитях твоих. Твои нивы — поля битвы, битвы свирепой, в которой все злодейство с одной стороны. Сколько уст замкнулось на веки веков под позорной розгой своих палачей, — помещиков, воров-чиновников и пьяной полиции.

Герцен (1858)

Практическое единство этих двух формально противоречивых характеристик России 50-х годов устанавливается из отчетов главноуправляющего III отделением собственной его императорского величества канцелярии и шефа корпуса жандармов, князя А. Ф. Орлова императору Николаю I. Заключительные абзацы отчета за 1849 год гласят: «Состояние империи в 1849 году благоприятствовало сохранению повсюду в низших классах спокойствия... Поводом же происходивших между помещичьими крестьянами в разных местах беспорядков большею частью было стремление их к свободе, по неблагонамеренным наущениям... Вообще, случаев неповиновения крестьян в 1849 году было 42, против 1848 года менее 8-ью; кроме того было 6 возмущений рабочих людей на заводах и фабриках — всего 48». Отчет за 1850 год сообщал: «Состояние народного духа было самое удовлетворительное. Возмущения крестьян некоторых имений, возникавшие от беспорядочного ими управления или от желания избавиться от крепостного состояния, не имели на нарушение общественного спокойствия прочих жи-

телей никакого влияния... Случаев неповиновения крестьян было 34. Крестьяне лишили жизни своих помещиков 10, управителей и сельских старшин 6; кроме того, безуспешных посягательств было 17». В 1851 году Орлов докладывал: «Случаев неповиновения крестьян было 44. Возмущения происходили наиболее от стремления крестьян освободиться от крепостного состояния... Крестьяне лишили жизни своих помещиков 12, управителей и сельских старшин 10; кроме того, безуспешных посягательств было 14» [22].

О Саратовской губернии за 1850 год, когда вернулся туда Чернышевский, сообщалось: «В августе месяце, по случаю возникших в Саратовской губернии слухов о дозволении свободного перехода за границу, крестьяне тамошних помещиков уходили целыми семействами к границам Молдавии. По высочайшему повелению, наистрожайше подтверждено ген.-лейт. Федорову и ген.-адъют. Кокошкину отнюдь не допускать этих переселений, и, если потребуют обстоятельства, возвращать беглых в прежние жительства даже под конвоем от войск» [23].

Тишина, покорность, долготерпение, прерываемые все более упорными крестьянскими бунтами, крестьянским террором и массовыми побегами, — такова деревенская Россия 50-х годов. Прав был и Некрасов со своей «вековой тишиной», и Герцен со своей формулой: «твои нивы — поля битвы, битвы свирепой». Но к середине 50-х годов «тишины» в России становилось все меньше, а элементов «свирепой битвы» на ее полях накоплялось все больше. Напряжение в крестьянской России нарастало с каждым годом. «Крестьянские волнения 1854 — 1855 годов, — сообщает историк, — распространялись на весьма значительный район; они имели место в губерниях Рязанской, Владимирской, Нижегородской, Тамбовской, Пензенской, *Саратовской*, Симбирской, Воронежской, Киевской» [24].

Люди, стоявшие близко к деревне, писали: «Какое-то тревожное ожидание тяготеет над всеми... все признаки указывают в будущем, повидимому недалеком, на страшный катаклизм» [25]. Чернышевский был хорошо подготовлен, чтобы сердцем и умом воспринять это нарастающее напряжение. Мы недаром подчеркнули выше упоминание историка о Саратовской губернии. Огни крестьянской войны загорались совсем близко от Чернышевского, и он — мы сейчас в этом убедимся — хорошо знал и причины и формы этой надвигавшейся войны.

В Саратове Чернышевский учительствовал и учился. Учительствовал — на взгляд начальства — скверно: рассказывал на уроках о Французской революции, на доске рисовал планы зала заседаний Конвента и распределения партий в нем. Сам же учился науке революции. На его рабочем столе лежали Штраус, Фейербах, историки Французской революции, Фурье, обзоры событий 48-го года [26]. С остатками религиозных верований он уже покончил окончательно. «У него не было середины между верою, — рассказывает его тогдашний собеседник, — и Фейербахом. Сущность его воззрений в этом пункте можно выразить так: или верь, как указано, ибо в системе, установленной церковью, нельзя тронуть камешка, не поколебав всего здания, или совсем не верь, пройдя трудный процесс мышленья» [27]. Вопросы революционного мировоззрения и революционной тактики составляли обычные темы оживленных бесед в узеньком кружке, который сгруппировался в Саратове вокруг Чернышевского. События Великой французской революции, тактика жирондистов и якобинцев, террор Робеспьера служили предметом горячих споров. Чернышевский нападал на жирондистов, защищал Робеспьера и террор [28]. Так же горячо обсуждались события 1848 года, контрреволюционная роль в них славянства и России, пропаганда и деятельность Бакунина... Ко всяким славянофильским и панславистским мечтаниям Чернышевский относился резко отрицательно.

Кружок был узенький — пять-шесть человек: два молодых учителя, двое ссыльных поляков, Н. И. Костомаров, отбывавший в Саратове после Петропавловской крепости ссылку по делу Шевченко, Д. Л. Мордовцев. Все это были люди с путанными мозгами. Старые понятия и новые идеи лежали в них рядом, являя картину дикого совмещения умственного горизонта московских подъячих XVII века с мыслями, заимствованными у парижских радикалов 40-х годов. Лучшие из них застряли на том уровне, на котором находился Чернышевский в первые годы своей жизни в Петербурге и над которым он поднялся «трудным процессом мышления».

Но вот что характерно и существенно: все те члены этого кружка, которые умели держать перо в руках, неизменно тяготели к темам, связанным с широкими, низовыми, крестьянскими движениями. Костомаров в Саратове готовил и приготовил монографии о Степане Разине и хмельнищине;

Мордовцев писал о «тайдамачине» и «понизовой вольнице»; Белов интересовался московскими смутами конца XVII века [29]. Над этими людьми и над их темами тяготела атмосфера нарастающей крестьянской войны. Чернышевский был охвачен ею целиком и отдавался ей сознательно.

Именно здесь, в саратовской глуши, в начале 50-х годов, вооруженный уже достижениями европейской революционной мысли, пройдя искус сомнений и колебаний, он почувствовал неотрывность своей судьбы от волновавшегося вокруг крестьянского моря и связал раз навсегда свою личную судьбу с судьбой русской крестьянской революции. Именно в этой атмосфере были приняты решения, которые дали право впоследствии его соратнику-поэту сказать:

Не говори: «Забыл он осторожность» —
Его судьба давно ему ясна.

В Саратове Чернышевский не только читал, учился и размышлял над книгами и жизнью. Ему было 24 года, и он был влюблен. Ольга Сократовна Васильева, дочь местного врача, была красивая, живая, бойкая девушка, с душой и сердцем, плохо подогнанными под условия провинциального существования. «Цыганка» — звали ее местные матроны. Чернышевский полюбил ее. Это была страстная и необычайная любовь. В любви, как и в политике, Чернышевский был последователен и беспощаден... к себе.

К моменту встречи с Ольгой Сократовной у Чернышевского были твердо выработанные представления о нормальных отношениях между мужчиной и женщиной, мужем и женой. Он недаром прошел через критику брака у Фурье и проповедь равноправия и свободы чувства у Жорж Занд. То, что он в этой области считал соответствующим идеалу человеческих отношений, он не склонен был ни относить в область идеального будущего, ни проповедывать другим, освобождая от соответствующих выводов себя.

Он был вообще невысокого мнения о правилах и понятиях, которыми руководствуются его современники в отношениях между собой. Он думал об этих людях так: «Они не предвидят, что будут казаться своим детям полуварварами, своим внукам — дикарями, своим правнукам — людьми, более похожими на орангутангов, чем на людей» [30]. Совершенно варварским, достойным обезьян, а не людей казалось ему положение в современном обществе женщины. «По моим понятиям, — говорил он любимой девушке, — жен-

щина занимает недостойное место в семействе... Женщина должна быть равной мужчине. Но когда палка была долго искривлена в одну сторону, чтобы выпрямить ее, должно много перегнуть на другую сторону... Каждый порядочный человек обязан, по моим понятиям, ставить свою жену выше себя — этот временный перевес необходим для будущего равенства» [31].

Ни разу в жизни в своих отношениях с Ольгой Сократовной он не отступил от этого правила. Соблюл он и другое положение, изложенное им своей невесте. «Сердцем нельзя распоряжаться. Но я не могу от других требовать обязательства на будущее время», — говорил он ей. «Я — проповедник идей [свободы чувства]... Но... по моим понятиям проповедник свободы не должен ею пользоваться, чтобы не показалось, что он проповедует ее для собственных выгод» [32]. «А если в ее жизни явится серьезная страсть? — записал он тогда же в своем дневнике. — Что ж, я буду покинут ею, но я буду рад за нее, если предметом этой страсти будет человек достойный. Это будет скорбью, но не оскорблением» [33].

Ольга Сократовна осталась на всю жизнь единственной любовью Чернышевского, и в далеком Вилюйске, отделенный от нее тысячами верст и шестнадцатилетней разлукой *, он оставался неизменно верен чувствам и понятиям, изложенным им в 1853 году своей невесте.

Считала ли Ольга Сократовна обязательной для себя ту высоту, на которую подымал ее муж? Книжка В. А. Пыпиной «Любовь в жизни Чернышевского» утверждает, что нет, что она своим поведением подвергала отношение к ней Чернышевского жестоким испытаниям. Мы не знаем этого и не интересуемся этим. Если это и так, то тем ярче выступает непреклонная верность Чернышевского тем высоким принципам, которые он положил в основу своей личной жизни.

Но любовь поставила перед Чернышевским не только вопрос о личных отношениях к любимой женщине. Страстное личное чувство, захватившее Чернышевского, заставило его поставить перед собой и другой вопрос: о своей судьбе, о праве связать с ней жизнь другого человека.

Для него было уже ясно, что его путь — «дорога к Ис-

* Разлука продолжалась собственно 21 год, с 1862 по 1883 год, но в 1866 году О. С. приезжала с сыном к мужу в Сибирь, в Кадаю, и пробыла здесь... 4 дня.

кандеру» (Герцену), как записал он 7 марта 1853 года, то есть путь открытой политической борьбы, политических гонений, ссылки и т. д. Он не мог и не хотел скрывать этого перед любимым человеком. Его разговор с ней 19 февраля 1853 года подводит итог его впечатлениям, вынесенным из трехлетнего пребывания «во глубине России», яркими красками рисует, что прибавили эти впечатления к теории, вынесенной из петербургского подполья. Это добавление — живое ощущение нарастающей крестьянской революции, конкретное представление о реальных формах, в которых она начинается. Это добавление также — в твердой решимости примкнуть к ней, связать с ней всю свою судьбу. В этот разговор следует вчитаться. Вот он по дневниковой записи Чернышевского.

«— С моей стороны было бы низостью, подлостью связывать с своей жизнью еще чью-нибудь и потому, что я не уверен в том, долго ли буду я пользоваться жизнью и свободою. У меня такой образ мыслей, что я должен с минуты на минуту ждать, что явятся жандармы, отвезут меня в Петербург и посадят меня в крепость, бог знает, на сколько времени...

— Почему же? Неужели в самом деле не можете вы перемениться?

— Я не могу отказаться от этого образа мыслей, потому что он лежит в моем характере, ожесточенном и недовольном ничем, что я вижу кругом себя. Теперь я не знаю, охладею ли я когда-нибудь в этом отношении. Во всяком случае до сих пор это направление во мне все более и более только усиливается, делается резче, холоднее, все более и более входит в мою жизнь. Итак, я жду каждую минуту появления жандармов, как благочестивый схимник каждую минуту ждет трубы страшного суда. Кроме того, у нас будет скоро бунт, а если он будет, я буду непременно участвовать в нем.

Она почти засмеялась — ей показалось это странно и невероятно.

— Каким же это образом?

— Вы об этом мало думали или вовсе не думали?

— Вовсе не думала.

— Это непременно будет. Неудовольствие народа против правительства, налогов, чиновников, помещиков все растет. Нужно только одну искру, чтобы поджечь все это. Вместе с тем растет и число людей из образованного круж-

ка, враждебных против настоящего порядка вещей. Вот готова и искра, которая должна зажечь этот пожар. Сомнение однако — когда это вспыхнет? Может быть, лет через десять, но я думаю, скорее. А если вспыхнет, я, несмотря на свою трусость, не буду в состоянии удержаться. Я приму участие.

— Вместе с Костомаровым?

— Едва ли — он слишком благороден, поэтичен; его испугает грязь, резня. Меня не испугает ни грязь, ни пьяные мужики с дубьем, ни резня... А чем кончится это? Каторгою или виселицею. Вот видите, что я не могу соединить ничьей участи со своей... Вам скучно уже слушать подобные рассуждения, а они будут продолжаться целые годы, потому что ни о чем, кроме этого, я не могу говорить»[34].

Через несколько дней разговор на ту же тему продолжался: «Я не могу жениться уж по одному тому, что я не знаю, сколько времени пробуду я на свободе. Меня каждый день могут взять. Какая будет тут моя роль? У меня ничего не найдут, но подозрения против меня будут весьма сильные. Что же я буду делать? Сначала я буду молчать и молчать. Но, наконец, когда ко мне будут приставать долго, это мне надоест, и я выскажу свои мнения прямо и резко. И тогда я едва ли уже выйду из крепости. Видите, я не могу жениться»[35].

Ольга Сократовна не испугалась. Через полтора месяца они уже были женаты и немедленно выехали из Саратова в Петербург. Чернышевский уезжал в столицу с твердо выработанными убеждениями, с ясным представлением о своей будущей роли и вероятной судьбе. В нем жило убеждение, что в его стране нарастает неизбежный революционный кризис, а перед его сознанием носился идеал, идеал социализма. «Это — восторг, какой является у меня при мысли о будущем социальном порядке, при мысли о будущем равенстве и отрадной жизни людей — спокойный, сильный, не слабеющий восторг. Это не блеск молнии; это — равно — не волнующее сияние солнца. Это — не знойный июльский день в Саратове; это — вечная сладостная весна Хиоса»,— записал Чернышевский на последних страницах своего саратовского дневника.

Он твердо знал, что путь к Хиосу, путь к социализму лежит через бури гражданских войн и что иных путей туда нет.

IV. НА ПЕРЕКРЕСТКЕ ИСТОРИЧЕСКИХ ДОРОГ

1. СИТУАЦИЯ

Через несколько месяцев после прибытия Чернышевского в Петербург началась Крымская война, и с нею — явное банкротство всего режима. Во время войны о степени гнилости режима и о классовом характере войны можно судить по степени и сфере распространения пораженческих идей. Пораженчество было широко распространенным явлением в буржуазно-дворянских и разночинских кругах России в эпоху Крымской кампании. Помещик, дворянин, монархист, верный сын православной церкви, откупщик и славянофил, А. И. Кошелев писал: «Высадка союзников в Крым в 1854 году, последовавшие за тем сражения при Альме и Инкермане и обложение Севастополя нас не слишком огорчили, ибо мы были убеждены, что даже поражение России сноснее и даже для нее и полезнее того положения, в котором она находилась в последнее время. Общественное и даже народное настроение, хотя и отчасти и бессознательное, было в том же роде» [36]. Пораженцем был не только Герцен, но и С. М. Соловьев, не только Кавелин, но и несгибаемый государственник правогегельянской школы Б. Н. Чичерин. Пораженцем был, конечно, и Чернышевский. Через несколько лет он писал по поводу войны Австрии с Францией и Италией: «В Западной Европе покажется неестественным и невероятным, чтобы даже австрийские немцы считали несчастием для государства тот случай, когда их правительство одерживало бы победы, и надеялись добра только от поражения своей армии. Но мы совершенно понимаем это чувство».

В феврале 1855 года Николай, сломанный неудачами

своих войск, навсегда «изволил отбыть в Петропавловскую крепость». «Тяжелый тиран в ботфортах был наконец «зачислен по химии».

В щели явно оседавшего и разваливавшегося здания дворянской монархии с неодолимой силой «полез» — следует сказать «попер» — крестьянский вопрос. Крестьянские волнения по поводу призывов ополчения в 1854 и 1855 годах приняли неслыханные для России XIX века размеры. Слова о «второй пугачевщине» стали все чаще встречаться в дворянских беседах и официальных и полуофициальных записках, адресованных правительству. Ощущение «грядущей катастрофы» висело в воздухе. Недаром первый дворянин империи, Александр II должен был через пару лет порекомендовать — и очень настойчиво — своим товарищам начать дело освобождения крестьян сверху, чтобы оно не началось само снизу. Он был напуган. На одной из поданных ему записок об уничтожении крепостного права он написал: «Автор отгадал мое основное опасение: как бы нам не опоздать». Он торопил медленно поспешавший комитет по крестьянскому делу и писал на его докладах: «Повторяю еще раз, что положение наше таково, что медлить нельзя». Налицо были все элементы революционной ситуации.

Наличие ее в конце 50-х годов ныне не вызывает уже сомнения ни в ком. Ленин еще в 1901 году писал об этом моменте, что при наличных тогда данных — «самый осторожный и трезвый политик должен был бы признать революционный взрыв вполне возможным и крестьянское восстание — опасностью весьма серьезной» [37].

Такова была обстановка, в которой недавно явившийся в Петербург, никому неизвестный провинциальный учитель, Николай Гаврилович Чернышевский, занявшийся по приезде для заработка переводами английских романов и составлением компилятивных статеек для бесцветнейшего петербургского журнала, вырос быстро и неожиданно для всех — но не для себя — в одну из центральных политических фигур эпохи. В этот исторический момент, один из поворотных моментов русской истории, у миллионов русского народа, судьба которого поставлена была на карту, не оказалось, кроме этого неизвестного учителя, никого, кто был бы подготовлен с такой последовательностью, силой, решительностью и мужеством, с таким умом и блеском сформулировать, предъявить и отстаивать его подлинные, насущные, кровные интересы. В этом тайна превращения скромного и

застенчивого провинциала в вождя огромного исторического движения.

Один из журналистов той эпохи, лично знавший Николая Гавриловича, сохранил нам его портрет тех дней. Вот он: «Совершенно белокурый, тонкий, с продолговатою шеей, которая дала даже повод одному администратору сострить, что, мол, «у вас шея очень годная для петли», Самарский [под этим именем выведен автором Чернышевский — *Л. К.*] с первого раза не производил никакого внушающего впечатления. Говорил он тихо, спокойно, повидимому ничего резкого не проявлялось в речах его, и только ироническая, злая улыбка, которая сопровождала иногда его слова, оттеняла их... Вообще он не кипятился, не выходил из себя, не поражал громом фраз, не говорил никогда, или почти никогда не говорил так, чтобы вы могли сказать про него: какой горячий человек. Нет, он как будто рисовался этим спокойствием, которое было не что иное, как самая твердая уверенность в себе: это было — спокойствие силы, которая помимо диалектики — в ней тоже силен был Самарский — действовала обаятельно и неотразимо на многих» [37]а.

Мы сейчас сказали о «блеске» его выступлений. Но он был плохим оратором. Правда, за всю жизнь ему только один раз удалось выступить с публичной речью, но по внешности это выступление было неудачно. А о стиле его статей существует убеждение, что внешняя их форма тяжела и сера. Действительно, язык его прост, но не ярок, силен, но не блестящ, словарь не скуден, но монотонен.

Но вот как описывает впечатление от его статей человек, абсолютно чуждый всему духовному миру Чернышевского, абсолютно враждебный всей его деятельности: «В том лагере, к которому принадлежал Чернышевский, не было человека, равного ему по смелости мысли, по энергии сектантской страсти, придававшей могучую силу его лучшим и наиболее важным статьям. Своим необычным упорством в известных литературных симпатиях и антипатиях, своею дерзостною решимостью затевать самые опасные сражения, преследовать соперника всеми возможными средствами, то раззадоривая его злою шуткою, то побивая его ловкими доказательствами и неожиданными, сенсационными сопоставлениями, он производил впечатление самого выдающегося человека эпохи. Фанатик по натуре, он с необузданною жестокостью нападал на сильнейших и талантливейших своих противников. Статьи его шумели на всех путях и

перекрестках русской жизни, зажигая вокруг него все, что было молодо, все, что умело пылко откликаться на всякое энергичное слово. В печати никто не умел победить Чернышевского... В обществе его репутация с каждой новой его статьею быстро росла и вырастала до степени авторитетной значительности и даже славы. Несмотря на грубый стиль [«Грубостью часто кажется сила», — говаривал Чернышевский. — *Л. К.*], статьи его и теперь еще производят эффектное впечатление... Вырвавшись из стеснительных рамок приличия и последовательности [Эка чепуха! — *Л. К.*], публицистическое красноречие Чернышевского льется бурным потоком»[38].

Это было написано в 90-х годах.

А другой заклятый враг дела Чернышевского, но сам замечательный стилист, писал еще через 10 лет, в 1905 году: «Уже читая его слог, чувствуешь: никогда не устанет, никогда не угомонится; мыслей — пучок, пожеланий — пук молний. Именно «перуны» в душе»[39].

Сам Чернышевский в оценке своих внешних данных как писателя крайне скромен. В частном письме 1877 года он писал: «Собственно как писатель-стилист, я писатель до крайности плохой. Из сотни плохих писателей, разве один так плох, как я. Достоинство моей литературной жизни — совсем иное: оно в том, что я сильный мыслитель»[40].

Чернышевский имел подлинное право сказать о себе последние слова, но почти в течение всей своей жизни этот мыслитель принужден был применять силы своего огромного ума в таких областях, которые сам считал второ- и третьестепенными с точки зрения поставленных им себе задач.

Он начал и долгое время оставался литературным критиком. Как критик, он завоевал себе положение в тогдашней литературе и в качестве такового стал руководителем авторитетнейшего тогдашнего журнала, некрасовского «Современника». А между тем в одной из первых своих работ он писал: «Надобно признаться — доля литературы в историческом процессе, никогда не бывая совершенно маловажна, обыкновенно бывала и вовсе не так значительна, чтобы заслуживать особенного внимания. Литература почти всегда имела для развития человеческой жизни только второстепенное значение».

В статьях этого литератора, всю свою жизнь проведшего за письменным столом, не трудно найти много подобных

признаний о второстепенной роли литературы. Ему хотелось говорить перед массами и руководить политической деятельностью масс, обстоятельства же поставили его в такие условия, при которых единственным его орудием было перо писателя.

Чернышевский написал обширный и, как мы покажем ниже, совершенно выдающийся трактат об эстетике. В то же время в самом этом трактате он сумел намекнуть на то, что тема его кажется ему не заслуживающей ни того времени, ни того умственного напряжения, которые он на него затратил.

В предисловии к своему труду он определяет его задачу как распространение новых начал, «господствующих ныне в науке», на область «наших эстетических убеждений» и тут же как бы мимоходом добавляет: «если еще стоит говорить об эстетике». А когда этот трактат после долгих мытарств и сопротивлений со стороны власть имущих был напечатан, он сам, прикрывшись псевдонимом, написал о нем статью, в которой раскрыл в горьких иронических словах смысл этой оговорки.

«Нам кажется, — писал здесь Чернышевский о своем труде, — что автор или не совершенно ясно понимает положение дела, или очень скрытен. Нам кажется, что напрасно не подражал он одному писателю, который к своим сочинениям сочинил следующего рода предисловие:

«Мои сочинения — обветшалый хлам, потому что ныне вовсе не следует толковать о предметах, сущность которых разоблачается мною, но так как многие не находят для своего ума более живого занятия, то для них будет небесполезно предпринимаемое мною издание».

Если бы г. Чернышевский решился последовать этой примерной откровенности, то он мог бы сказать в предисловии так: «Конечно, есть науки, интересные более эстетики; но мне о них не удалось написать ничего; не пишут о них и другие: а так как «за недостатком лучшего, человек довольствуется и худшим», то и вы, любезные читатели, удовольствуйтесь «эстетическими отношениями искусства к действительности». Такое предисловие было бы откровенно и прекрасно» [41].

А вот горькие слова Чернышевского о Белинском:

«Он грустит уже не о бедности русской литературы: ему грустно, что надобно рассуждать об этой литературе; он чувствует, что границы литературных вопросов тесны, он

тоскует в своем кабинете, подобно Фаусту: ему тесно в этих стенах, уставленных книгами, — все равно, хорошими или дурными; ему нужна жизнь, а не толки о достоинствах поэм Пушкина» [42].

Не трудно заметить, что эту характеристику можно целиком применить и к самому Чернышевскому. С полным правом следует отнести к нему слова: «Он тоскует в своем кабинете, подобно Фаусту: ему тесно в этих стенах, уставленных книгами».

Эстетика и вопросы литературной критики казались единственными областями, в которых в той или другой — конечно, в очень слабой и замаскированной — форме можно было если не говорить, то по крайней мере, намекать на дорогие Чернышевскому идеи.

Но даже и эти области оказались не вполне подходящими. В воспоминаниях Ф. Н. Устрялова сохранился рассказ о сцене, происшедшей между его отцом, профессором Петербургского университета, и министром народного просвещения А. С. Норовым по поводу диссертации Чернышевского.

«Едва ли не накануне диспута А. С. Норов, проездом из Павловска в Петербург, встретился в вагоне с моим отцом.

— Николай Герасимович! что вы наделали! — воскликнул министр, увидев моего отца. — Как вы могли пропустить диссертацию Чернышевского? Вчера, ложась спать, я посмотрел ее. Ведь это вещь невозможная! Ведь это полнейшее отрицание искусства и изящного!.. Помилуйте!.. Сикстинская мадонна и Форнарина — итальянка-натурщица. К чему же сводится искусство? Это невозможно, невозможно!

Отец заметил, что диссертация одобрена советом, что экзамен выдержан магистрантом, диссертация напечатана, и день диспута назначен.

— Отменить! Остановить все это! Я не могу согласиться! — решил Норов. — Как хотите, но такая диссертация невозможна, и все это дело следует окончить».

Ясно, какая судьба постигла бы рукописи Чернышевского, если бы он предположил, что свои идеи он может развивать не по поводу учения о прекрасном, а, скажем, учения о политической экономии или государственном устройстве. Судьба эстетического трактата Чернышевского указывала только на один из двух возможных путей: надо было или

вообще отказаться от публицистической деятельности или избрать сферу литературной критики, дожидаясь лучших времен. Чернышевский избрал последний путь — и был, конечно, прав. Через два-три года своего пребывания в Петербурге Чернышевский мог несколько расширить круг тем своей журнальной деятельности, но и в 1861 году — в самый разгар «эпохи великих реформ», в расцвете «оживления» русской журналистики — Чернышевский со злобой, с отчаяньем восклицал: «Пиши о варягах, о г. Погодине, Маколее и г. Лаврове с Шопенгауэром, о Молинари и письмах Кэри... и сиди за этой белибердой, ровно никому ненужной. Тяжело писать дребедень, унизительно, отвратительно писать ее... Грустно быть писателем человеку, который не хотел бы прожить на свете бесполезным для общества говоруном о пустяках» [44].

Много ума, времени и бумаги принужден был потратить Чернышевский на темы, которые сам он считал второстепенными, маловажными, недостойными его сил, посторонними его основным интересам.

Собрание сочинений Николая Гавриловича Чернышевского содержит в себе очерки, статьи и исследования, посвященные самым разнообразным вопросам. Читатель найдет в нем статьи по философии, эстетике, истории, политической экономии, литературно-политические очерки, полемические заметки по текущим вопросам дня, стихи, рассказы и романы. Но по характеру своих интересов и по типу своей деятельности Чернышевский не был ни историком, ни философом, ни политэкономом, ни литературным критиком, ни беллетристом. Он был политиком и им именно хотел быть.

Государственная власть всегда является центром внимания политика. Политик всегда имеет дело с властью, он оспаривает эту власть, осуществляет ее или содействует ее осуществлению. По вопросам государственной власти Чернышевский писал меньше всего, и однако вся его деятельность сосредоточилась вокруг вопросов государственной власти. Чернышевский был первым русским политиком крупного масштаба, вышедшим не из дворянской среды и стремившимся сделать политическую власть орудием трудящихся масс. Он был революционным демократом, идеологом крестьянской революции. Эта основная роль Чернышевского в русской истории часто забывается, а между тем без этой основной установки совершенно невозможно понять

позицию Чернышевского по всем тем частным вопросам и во всех тех частных областях, по которым ему приходилось высказываться и в которых ему приходилось действовать. Выдающиеся критики (Белинский, Писарев), публицисты (Герцен), историки, политические обозреватели, популяризаторы науки, а тем паче беллетристы, действовали на почве русской литературы и до Чернышевского, и рядом с ним. Специфическая черта, которая выделяет Чернышевского из ряда этих выдающихся деятелей литературы и журналистики, заключается именно в том, что в его лице русская разночинная интеллигенция впервые осознала свои политические задачи, всесторонне продумала их и поставила их в центр своей деятельности, подчинив им все остальное.

Деятельность Чернышевского совпала с тем моментом, когда впервые в России XIX века создалась обстановка широкого революционного кризиса. Этот период открылся Крымской войной. События не переросли в революцию, а закончились выкидышем, — помещичьей реформой сверху, предупредившей и оттянувшей на многие годы революцию снизу. Но революционная обстановка, не приведшая к революции, все-таки была обстановкой революции, и какая бы «белиберда» и «дребедень» ни служила поводом для статей Чернышевского, вся его литературная деятельность в Петербурге во всех ее деталях была лишь отражением подготовки и нарастания революционного кризиса.

Чернышевский стал идеологом и политическим вождем крестьянской революционной струи в этом процессе ломки отживших экономических и политических отношений. Единственный во всей литературе тех годов, он стал живым воплощением «мужицкого демократизма», — так охарактеризовал его социальную функцию Ленин.

При том всестороннем потрясении векового крепостнического уклада, которое характерно для 50-х—60-х годов, крестьянские массы не могли, конечно, остаться пассивными зрителями планов и замыслов, касавшихся их дальнейшей судьбы. Эти массы были охвачены политическим и идеологическим возбуждением. Социальное содержание их движения было совершенно ясно: оно являлось протестом против попытки ограбления крестьянства под видом «освобождения», оно воплощало стремление крестьянской массы к овладению землей, находившейся в руках дворянства. Однако эти стремления не могли получить и не получили при тогдашних условиях достаточно точного выражения в

практических лозунгах самих крестьянских масс. Чернышевский восполнил идеологически то, чего нехватало крестьянскому движению в его реальных формах: четкость политической мысли, идущий до конца демократизм, связь между лозунгом «земля» (переход всей помещичьей земли к крестьянству) и «воля» (освобождение от политической власти помещичьего государства). Эти положения, формулирующие требования крестьянской, то есть по своему содержанию буржуазно-демократической революции, в данных конкретных условиях не могли не принять социалистической формы. Этот социализм не мог быть пролетарским социализмом; это был крестьянский социализм, социализм мелких товаропроизводителей, потребительский социализм равенства.

У самого Чернышевского — поскольку он в своих теоретических построениях опирался отнюдь не только на непосредственные интересы крестьянских масс, но и на итоги европейской мысли — этот крестьянский мелкобуржуазный социализм отнюдь не носил столь элементарного и наивного характера. Чернышевский, конечно, хорошо понимал, что переход земли к крестьянству на началах общинного землевладения отнюдь еще не обозначает установления социализма. Он рассматривал завершение аграрной революции в России на началах крестьянского общинного землевладения как *пролог* и одно из важнейших условий дальнейшего социалистического переустройства всего общества, как важнейший *пролом* в принципе и системе частной собственности. «Пролог пролога» — назвал Чернышевский то свое произведение, в котором он в беллетристической форме пытался воспроизвести общественные настроения России в 1856—1857 годах.

Это была, конечно, перспектива, проникнутая не научным, а утопическим социализмом, но и в этом своем виде программа крестьянской революции, выдвинутая Чернышевским, явилась открытым объявлением войны не только дворянской монархии, но и дворянскому и буржуазному либерализму. Это неизбежно наложило на всю деятельность Чернышевского, во всех ее областях, черты подлинной революционности, придало характер беспощадного отрицания и резкой непримиримости всем его выступлениям, касались ли они общих основ или каких-либо частностей идеологии господствовавших классов. Обе фракции — консервативная и либеральная — того класса, который держал

в своих руках командные высоты экономики, политики, литературы и т. д., почувствовали себя одинаково задетыми проповедью Чернышевского. Так стал выходец из саратовского протоиерейского гнезда, автор трактата об эстетике и литературный критик — центральной политической фигурой эпохи.

2. РЕФОРМА ИЛИ РЕВОЛЮЦИЯ?

> ... Но как между различными государствами спор, если имеет достаточную важность, всегда приходит к военным угрозам, точно так и во внутренних делах государства, если дело немаловажно... А от угроз доходит до войны.
>
> *Чернышевский*

Центральным вопросом создавшегося положения было крестьянское дело. П. П. Семенов-Тян-Шанский, который из своих географических экспедиций вынес привычку к точности наблюдений, а в качестве члена правительственных комиссий имел возможность близко видеть весь ход дела — «освобождения» крестьян, в своих «Мемуарах» следующим образом характеризует центр тяжести этого центрального вопроса.

«...Самые дальновидные из дворян-помещиков великороссийских губерний очень хорошо понимали, что центр тяжести отданного на их обсуждение дела состоял не в определении личных и юридических прав... крестьян... что этот центр тяжести находился также не в административном устройстве... крестьянских обществ... Наоборот, весь центр тяжести крестьянского дела находился, в глазах дворян-помещиков и самих крестьян, в разрешении аграрного вопроса, а именно в *определении прав обоих*, доселе неразрывно связанных между собой крепостными узами *сословий на земли их кондоминума* [совладения. — *Л. К.*], *называемого поместием, на которые оба эти сословия заявляли свои неотъемлемые, по их мнению, права*»[46].

Два «сословия» заявляли свои «неотъемлемые» права на землю — в этом, действительно, заключалась сущность вопроса, поставленного экономическим крушением крепостного хозяйства. Личные и юридические права крестьян, а равно и административное устройство, говоря же общее и шире — устройство *политическое* находилось в непосред-

ственной связи с вопросом о том, как будет решаться и как решится это столкновение крестьянских и помещичьих интересов в споре о земле. Среди современников крестьянской «реформы» был один человек, отдававший себе полный отчет, во-первых, в связи политического устройства и борьбы за землю и, во-вторых, в том обстоятельстве, что предъявление двумя «сословиями» своего права на ту же землю есть как раз тот имеющий «достаточную важность» спор, в котором отстоять свое право можно лишь «прибегнув к военным угрозам», а далее и к «войне».

Этим человеком был Н. Г. Чернышевский.

Его историческое величие, прямо пропорциональное колоссальной тяжести впервые сформулированной им задачи, которую русский народ — при совершенно новых классовых отношениях — решил лишь через несколько десятилетий после его смерти, и заключается в том, что при первой же попытке крепостничества «облагодетельствовать» народ реформой «сверху» он сумел в ней, в этой «реформе», разглядеть голую попытку крепостнического самоукрепления, сумел разоблачить всю мизерность, все своекорыстие, всю контрреволюционную сущность воспевающего «реформу» либерализма, сумел, наконец, в борьбе и с крепостничеством и с либерализмом сформулировать принципы действительно революционной политики. Не им открывается история русской революции, но он открывает собой историю русского демократического революционного движения, и, что еще примечательнее, он открывает эту новую и славную страницу революции как раз в тот момент, когда старые дворянские элементы последней — от оставшихся в живых декабристов и вплоть до Герцена — оказываются почти сплошь увлеченными потоком идущего сверху «обновления».

Апеллируя к революции в такой момент, Чернышевский не только бросал вызов всей «реформе» и всему торговавшемуся о «реформе» русскому либерализму, не только концентрировал на себе всю злобу и ненависть разоблачаемых бюрократических и либеральных «обновителей», «освободителей» и «народолюбцев»; он клал *принципиальную* грань между реформистскими и революционными методами обновления страны, между «прусским» и «американским» типами ее развития, пользуясь терминологией Ленина.

После провозглашения Чернышевским разрыва с либерализмом эта грань уже ни разу не могла стереться. Наоборот. Она должна была все более и более разрастаться.

В расхождении Чернышевского с либералами дело было не в социализме. Он не ждал от них социализма. Дело шло об аграрной программе и об их отношении к методам политического переустройства России.

В среде тогдашних либералов не было ни одого голоса за признание при «освобождении» собственностью крестьян той части земли, которая находилась в их фактическом владении при крепостном праве. Наоборот. Либералы сходились с крепостниками в признании «неотъемлемых прав» помещиков на *всю* землю. Основной вопрос о том, как должна быть распределена земля данного поместья между помещиком и крестьянами, единогласно решался и либералами, и крепостниками в том духе, что крестьянство никаких прав на землю не имеет. Разногласие начиналось только с вопроса о том, что будет выгоднее для помещика: «освободить» ли крестьянина без обязательства купить у помещика необходимый первому участок земли или уже при самом «освобождении» обязать крестьян покупкой этой земли. Тут вступали в свои права различия в хозяйственных интересах различных групп самих помещиков.

Черноземное дворянство, ценившее выше всего землю и готовое ее обрабатывать вольным трудом, стояло за полное «освобождение» крестьян от земли. Дворянство промышленных, нечерноземных губерний стояло за обязательную покупку крестьянами части помещичьей земли. Это называлось «освобождением крестьян с землею», и люди, стоявшие за подобный план «реформы», почитались либералами. Глава этих либералов, Унковский, обосновывая этот план, писал: «...Справедливость требует, чтобы помещики были вознаграждены как за землю, отходящую из их владения, так и за самих освобожденных крестьян». «Выдача же капитала, — пояснял далее этот либеральный «освободитель», — необходима для поддержания помещичьих хозяйств и приспособления их к обработке наемными руками». Превращением крестьянской «души» вместе с принадлежащей ей землей в капитал — назвал впоследствии эту операцию историк-марксист [47], и был прав. Но первым, кто понял эту подлинную суть «реформы», указал на нее и восстал против нее, был Чернышевский.

Столь откровенно выраженная мотивировка либеральной аграрной программы отнюдь не была личным достоянием Унковского. Известно, что первенство здесь принадлежит главе тогдашних либералов, сотруднику «Колокола»

профессору Кавелину, идею которого о выкупе крестьянских наделов либеральная русская историография неизменно называет его «бессмертной заслугой в истории великой эпохи».

Либеральная мысль того времени выше этого проекта не поднялась. Мало того. Она оказалась очень удовлетворенной и тогда, когда соответствующие ухудшения позволили правительству принять этот проект и ввести его в «Положение 19 февраля». Тургенев, которого нельзя упрекнуть в увлечении петербургскими реформаторами, поторопился уже через полтора года после 19 февраля записать: «Не должно забывать, что какие бы ни были последствия от «Положения» для дворян, — крестьянин *разбогател* и, как они выражаются, *раздобрел* от него» [48].

Между тем, что же обозначало это совпадение исходного пункта либерального проекта с исходными пунктами крепостнической программы? Только то, что либеральный — по своему общему значению несомненно шедший по буржуазной линии — проект сам стоял на почве крепостнических отношений, что он был не проектом *разрыва* с крепостничеством, а приспособлением к крепостничеству. Этот проект оставлял в исходном пункте всего цикла преобразований 60-х годов нетронутой силу крепостников; этим самым он отдавал в руки последних всю последующую историю, и когда впоследствии либерализм стонал от «засилий» крепостников, когда он сам стал задыхаться в их объятиях, он в своей собственной истории мог найти объяснение силы последних. Интересы новой, буржуазной России ее либеральными представителями были с первых же шагов принесены в жертву классовым интересам крепостнического помещичьего землепользования; после этого само «наделение» крестьян землею должно было превратиться и превратилось в орудие их нового закабаления.

Либералы оказались слугами крепостников, более того, они указали старому крепостничеству те методы обновления и укрепления, которых сам он, быть может, не нашел бы, — вот что стало ясно Чернышевскому уже в тот момент, когда либералы казались — на поверхностный взгляд — носителями российского прогресса и самоотверженными борцами с силами старого режима.

Для Чернышевского было ясно, что этот спор между крепостниками и либералами во всяком случае велся за счет крестьянской массы, которой и крепостнический и

либеральный планы одинаково отказывали в земле, кроме как на тех условиях, которые были бы выгодны помещикам.

Большевики впоследствии, в разгар своей борьбы за революцию, неоднократно цитировали слова, в которых Чернышевский характеризует тогдашних либералов. «Эх, наши господа-эмансипаторы, все эти наши Рязанцевы * с компанией — вот хвастуны-то; вот болтуны-то; вот дурачье-то!» Это в устах Чернышевского — далеко не просто бранные слова; в них помечены не личные свойства того или другого либерала, а обрисовано объективное положение тогдашнего либерализма. «Хвастунами, болтунами, дурачьем» оказывались либералы, постольку, поскольку, отстаивая *на словах* освобождение крестьян, они *на деле* своей практической программой укрепляли и подновляли крепостничество.

При таком противоречии между тем, что думал о своей роли либерализм (и что о нем думали многие простодушные люди), и тем, что он представлял на самом деле, — либералы неизбежно вырождались в хвастунов и болтунов.

«Толкуют: освободим крестьян, — говорил Чернышевский несколькими строками выше сейчас цитированных слов. — Где силы на такое дело? Еще нет сил... Станут освобождать. Что выйдет?

Натурально что:... выйдет мерзость» [49].

Ясно, что хотел сказать Чернышевский этими словами. Он полагал, что «такое дело», как освобождение, не может быть и не должно быть сделано дворянами, что, будучи сделано их «силами», оно выродится в «мерзость», что для действительного освобождения нужны другие силы, силы самого освобождающегося народа.

Экономическая программа *такого* освобождения неизбежно была прямо враждебна экономической программе реформаторов из дворянской среды.

В крестьянской программе, которую формулировал Чернышевский, о выкупе «и помину» не было. Кратко, но выразительно он изложил ее в словах: «Вся земля мужицкая, выкупа никакого! Убирайся, помещики, пока живы!» [50].

Полная экспроприация помещичьих земель — такова общая мысль аграрной программы Чернышевского. Он не мог ее, конечно, выразить целиком в своих подцензурных работах, но и в них он давал такие формулировки размеров

---

* Под именем Рязанцева у Чернышевского фигурирует как раз автор «бессмертной заслуги»—К. Д. Кавелин.

реформы, которые представляли открытое покушение крестьянства не только на земли, уже обрабатываемые крестьянами, но и на ту часть земли, которая числилась под помещичьей запашкой. Уже в 1859 году в январской книжке «Современника» он говорил о «прибавках к прежнему наделу в таком размере, чтобы пространство земли, отходящей к крестьянам, сравнялось по объему с землей, которая останется за помещиками», и пояснял тут же, что «для этого нужно в очень многих поместьях очень сильно увеличить крестьянский надел; так, чтобы в общем итоге он увеличился почти на целую треть против нынешнего».

Это был минимальный расчет, на почве которого Чернышевский в 1859 году находил еще возможным разговаривать с помещиками.

Но если даже взять этот, так сказать, легальный минимум программы Чернышевского и сравнить его с тем, что было на самом деле осуществлено при «освобождении», то и этого будет достаточно, чтобы наглядно убедиться в колоссальных размерах той пропасти, которая лежала между помещичьей и крестьянской программами.

По расчетам А. Лосицкого, повторяемым всеми позднейшими исследователями этого вопроса, в 20 губерниях черноземной полосы при освобождении было отрезано от крестьянских наделов в пользу помещиков 23,6% надельной земли [51]. Чернышевский, как мы видели, требовал минимальной прирезки в размере 33,3%. Земля, отрезанная у крестьян сравнительно с программой Чернышевского, представляла почти 75% того, что они получили *.

Эти 75% земли, необходимые крестьянству и оставленные в владении помещиков, достаточно рельефно рисуют размеры противоречия между минимальными потребностями крестьянской массы и интересами «освободителей». Что могло быть перед лицом этого противоречия законнее той ненависти, которую питал Чернышевский к либерализму, воспевавшему «реформу»?

Но этого мало. Либералы стояли за *выкуп*. Чернышевский был решительно против него.

* Чернышевский требовал, чтобы каждые 100 десятин крестьянской земли превратились при «реформе» в 133,3 дес. На деле крестьяне из каждых 100 дес. получили только 76,4 дес. Разница против программы Чернышевского 133,3—76,4 = 56,9. Эта недополученная — сравнительно с программой Чернышевского — крестьянами часть составляет почти 75% полученной ими земли (56,9 к 76,4 = 74,4%).

В романе «Пролог» Волгин (Чернышевский) убеждает своего собеседника не волноваться из-за того, получат ли общественную поддержку представители либеральной бюрократии. «Вопрос не стоит того, чтобы хлопотать, — говорит Волгин. — Пусть дело об освобождении крестьян будет передано в руки людям помещичьей партии. Разница невелика». Между либерально-бюрократическим планом освобождения с землей и с выкупом и помещичьим планом освобождения без земли — «разница не колоссальная, а ничтожная, — продолжает Чернышевский. — Взять у человека вещь или оставить ее у человека, но взять с него плату за нее — все равно. Выкуп та же покупка. План помещичьей партии проще, короче. Поэтому он даже лучше. Меньше проволочек, вероятно меньше и обременения для крестьян. У кого из крестьян есть деньги — те купят себе землю. У кого нет — тех нечего и обязывать покупать ее. Это будет только разорять их». — «Но освобождение с землей без выкупа невозможно», — возражает собеседник Чернышевского. — «Я и говорю: вопрос поставлен так, что я не вижу причин горячиться даже из-за того, будут или не будут освобождены крестьяне; тем меньше из-за того, кто станет освобождать их — либералы или помещики»...[52]

Чернышевский этими словами утверждал, что «сколько-нибудь действительного выхода» не было ни в помещичьем, ни в либерально-бюрократическом плане «освобождения». От либерально-бюрократического плана он ожидал пущего обременения и разорения для крестьян. Он даже предпочитал помещичий план, конечно, постольку поскольку последний способен был скорее толкнуть крестьянскую массу на революцию.

Именно по поводу этих слов Ленин писал: «Нужна была именно гениальность Чернышевского, чтобы тогда, в эпоху самого совершения крестьянской реформы..., понимать с такой ясностью ее основной буржуазный характер, — чтобы понимать, что уже тогда в русском «обществе» и «государстве» царили и правили общественные классы, бесповоротно враждебные трудящемуся и безусловно предопределившие разорение и экспроприацию крестьян»[53].

Выкуп фактически был *данью*, которую вступившая на путь буржуазного развития Россия уплачивала крепостничеству, данью, которая надолго должна была обессилить само буржуазное развитие. В своем качестве верных слуг крепостничества либерализм стоял принципиально за эту

дань. Эту дань заплатило — крестьянство. И надо сказать, что эта дань по своим размерам вполне походила на контрибуцию с завоеванной страны. Официальные данные свидетельствуют, что по 45 губерниям крестьяне заплатили в среднем за десятину на 79,5% дороже, чем эта десятина действительно стоила по рыночным ценам 1863—1867 годов. В одной нечерноземной полосе крестьяне заплатили помещикам за землю 342 миллиона рублей, хотя ее действительная ценность не превышала 155—180 миллионов, а всего — вплоть до отмены выкупных платежей под влиянием революции 1905 г. — крестьяне выплатили помещикам 1 570 млн. руб. вместо 544 млн., которые стоила перешедшая к ним земля [54].

Так выясняется реальное классовое содержание столкновения Чернышевского и «реформаторов» крепостнической империи.

Это было столкновение крестьянской демократии, стремившейся в силу своих классовых интересов к полному разрыву с крепостничеством и тем самым прокладывавшей путь свободному буржуазному развитию России, с дворянским либерализмом, не сходившим принципиально с почвы крепостнических отношений, отстаивавшим дворянское землевладение и выкуп как орудие нового закабаления крестьянства, и тем самым отдававшим дальнейшее развитие России всем мукам и страданиям «недостаточного развития капитализма». Это была борьба между прусским и американским путями развития страны, по гениальному позднейшему обобщению Ленина.

Негодование Чернышевского против либеральных сторонников «реформы» было предвосхищением того революционного протеста против основ «реформы», который зрел и назрел в широких народных массах в течение ближайшего полустолетия. Ясно и то, почему Чернышевский не находил нужным «горячиться» по поводу того, «кто станет освобождать крестьян — либералы или помещики». «Вопрос поставлен так, что я не нахожу причин горячиться», — писал он. Вопрос должен быть поставлен иначе, должен быть выведен за пределы торгов либерализма и крепостничества за счет крестьянской демократии; а поставить его иначе может лишь самодеятельность трудовых масс, рассуждал Чернышевский, и все больше и больше искал путей общения с последней. Он нашел этот путь, спустившись в подполье: его ближайшие ученики под непосредственным его влиянием

стали основателями первого общества со знаменем «Земля и воля», а ему самому принадлежит первое в русской истории непосредственное обращение — «к барским крестьянам». Этим он наметил путь всего дальнейшего развития русской революционной мысли, поскольку она высвобождалась из-под власти либеральных иллюзий.

Не иначе обстояло дело и в политической области. И тут Чернышевский не видел причин «волноваться», *поскольку вопрос оставался в границах спора крепостников и либералов*. И здесь единственный вопрос, который его действительно волновал, заключался в том: имеются ли достаточные силы, чтобы выйти *за пределы* спора либералов с крепостниками.

В эпоху, когда наиболее спутаны были представления о связи между характером экономической реформы и характером тех политических сил, которые ее проводили, Чернышевский по-материалистически представлял себе связь экономики и политики в решении крестьянского вопроса.

Уже в 1859 году Чернышевский непосредственно связывает общей цепью и крепостное право и те силы, которые провозгласили крестьянскую реформу. «Все это, — пишет он в статье «Суеверие и правила логики», перечисляя российские нехватки, — все это и не только это, но также и *крепостное право*, и упадок народной энергии, и умственная наша неразвитость, — все эти факты, подобно всем другим фактам нашего быта, коренную, сильнейшую причину свою имеют в состоянии нашей администрации и судебной власти». И он еще яснее определяет эту «коренную причину», когда, иронизируя над негодностью русского языка для выражения известных понятий, пишет: «Азиатская обстановка жизни, азиатское устройство общества, азиатский порядок дел — этими словами все сказано, и нечего прибавлять к ним» [55].

Нужно вспомнить, что это говорилось в то время, когда даже Герцен связывал все свои надежды с тем обстоятельством, что абсолютизм легко может «выбрать» путь народной политики, чтобы понять, как далеко ушел Чернышевский в своих политических взглядах от массы либерального общества.

Политические домогательства дворянства в эпоху «освобождения» крестьян в обеих своих формах — крепостнической и либеральной — исходили из одного и того же источника, из стремления оказать непосредственное влияние на

ход крестьянской «реформы». Борьба вокруг экономической программы реформы внутри дворянства должна была отразиться и на характере его политических притязаний. Крепостники мечтали об аристократической олигархии, либералы непрочь были в своей борьбе с крепостниками фигурировать в качестве «народных, бессословных представителей». Но и самые крайние либералы не посягали на изменение самого характера власти. Драгоманов, которого трудно заподозрить в неумеренности, ссылаясь на самое «решительное» из либеральных выступлений той эпохи, на «адрес» тверского дворянства, писал: «Необходимо помнить, что движение, какое происходило тогда в дворянских собраниях, имело в виду не столько собственно *конституцию*, сколько именно *реформу*, полицейскую, судебную, административную, организацию земского самоуправления и т. д.».

Но все эти «реформы», неизбежно связанные с основной — крестьянской «реформой», так же мало соответствовали интересам крестьянской демократии и так же мало способны были ее удовлетворить, как и само «освобождение».

Это несоответствие было настолько ясно, что его понимал не только Чернышевский, но и Кавелин. Выводы их были очень различны, конечно. В то время как Чернышевский понимал «волю» так же широко, как понимал «землю», Кавелин ярче других выразил либеральный страх перед волей, рекомендуя дворянству самоуправление как предельный лозунг.

Для характеристики либерализма эпохи Чернышевского не может быть ничего более интересного, как письмо Кавелина к Герцену от 18 апреля 1862 года.

«Не знаю, что вы скажете, — писал Кавелин, — эта игра в конституцию меня пугает так, что я ни о чем другом и думать не могу. Разбесят дворяне мужиков до последней крайности... и пойдет потеха. *Это ближе и возможнее, чем кажется. Наше историческое развитие страшно похоже на французское:* не дай бог, чтобы результаты его были так же похожи... Я скоро буду всеми силами стоять за существующий беспорядок, то есть за все реформы, но против конституции. *Дурачье не понимает, что ходит на угольях, которых не нужно расшевеливать, чтобы не вспыхнули и не произвели взрыва*» [56].

«Я счел бы себя бесчестным человеком, — пишет тот же столп либерализма через месяц, — если б советовал барину,

попу, мужику, офицеру, студенту ускоривать процесс разложения обветшалых исторических общественных форм» [57].

Как и в экономической, так и в политической области либерализм больше всего опасался, как бы освобождение крестьян не пошло *по французскому* — то есть, на эзоповском языке того времени, по революционному—*пути*. Именно упоминание о нем и показывает, что Кавелин был не только либералом, но и либералом просвещенным, хорошо отдававшим себе отчет в сравнительной выгодности для классовых интересов дворянства и буржуазии различных путей освобождения крестьян. Этот либерализм уже в 50-х—60-х годах имел, однако, не менее просвещенного врага в лице Чернышевского. Последний недаром приблизительно в то же время, когда Кавелин высказывал опасение перед возможностью «французского» пути для русской демократии, в своих разговорах с Добролюбовым предсказывал: «Придет серьезное время... Подымется буря, вероятнее всего во Франции... В 1830 году буря прошумела только по западной Германии, в 1848 году захватила Вену и Берлин. Судя по этому, надобно думать, что в следующий раз она захватит Петербург и Москву».

И перед лицом этого революционного метода проповедь реформы казалась Чернышевскому «мелким, презренным, отвратительным для всякого умного человека: для умного радикала таким же отвратительным, как и для умного консерватора, пустым, сплетническим, трусливым, подлым и глупым либеральничанием» [58].

При столь ясном понимании противоположности интересов крестьянской массы и дворянского и дворянско-буржуазного либерализма Чернышевский не мог не стать живым воплощением пробуждающихся сил революции против тех политических и экономических экспериментов, из-за размеров которых конкурировали либерализм и крепостничество. В эпоху крепостнического и либерального обмана народа «освобождением» он взял на себя трудную задачу разоблачения этого обмана, разоблачения всех тех бедствий, которые несло народу крепостническими руками проведенное «освобождение». Он не остановился перед тем, чтобы апеллировать к самой массе, призывая ее самое защищать свои нужды, никому не передоверял этого дела. В тот момент масса не откликнулась. Вопрос был решен помимо нее, не *по-французски*. Но дело Чернышевского могло терпеть поражения, но не могло умереть и не умерло. Он не принад-

лежал к «жрецам минутного, поклонникам успеха». «Будь, что будет, а будет и на нашей улице праздник», любил он повторять. Он оказался прав в том смысле, что правильно наметил неизбежность столкновения, что понял движущие силы неизбежной революционной борьбы вокруг земли. Поэтому именно он в ту эпоху представлял будущее революции и всей страны, поскольку только народная революция могла вывести Россию из тупика азиатского крепостничества и либерального своекорыстия.

Первая широкая попытка крепостничества укрепить свое положение путем буржуазной реформы увенчалась сравнительным успехом. Крестьянство было освобождено без земли, но с обязательством покупать плохую землю по высокой оценке у помещика по одному его одностороннему требованию.

Либерализм не только не оказал достаточного сопротивления, но оказался певцом этой «реформы».

Крестьянская демократия принуждена была уступить почти без боя, отдав авторам «реформы» своего идеолога — Чернышевского — в качестве военнопленного.

Но развитие не могло быть остановлено.

Замедленным и трудным путем Россия переходила к новым социальным отношениям, покуда в ней не вырос пролетариат, единственный класс, способный к решительной борьбе со всеми формами рабства. Тогда, под его руководством, пробудилась и крестьянская масса, которую тщетно призывал Чернышевский.

Тогда Ленин, идеолог, вождь, организатор революции, которой суждена была победа, а не поражение, сказал, вспоминая своих предшественников на революционном пути: «Беззаветная преданность революции и обращение с революционной проповедью к народу не пропадет даже тогда, когда целые десятилетия отделяют посев от жатвы» [59].

Тогда вождь революции, которая осуществила на деле мечты и надежды Чернышевского-социалиста, восстановил перед народом его образ — как образ своего предшественника, назвал его предвидения «гениальными», его понимание современной действительности «глубоким и превосходным» и охарактеризовал его позицию так: «Чернышевский понимал, что русское крепостническо-бюрократическое государство не в силах освободить крестьян, то есть ниспровергнуть крепостников, что оно только и в состоянии произвести мерзость, жалкий компромисс интересов либера-

лов (выкуп — та же покупка) и помещиков, компромисс, надувающий крестьян призраком обеспечения и свободы, а на деле разоряющий их и выдающий головой помещикам. И он протестовал, проклинал реформу, желая ей неуспеха, желая, чтобы правительство запуталось в своей эквилибристике между либералами и помещиками и получился крах, который бы вывел Россию на дорогу открытой борьбы классов» [60] — следовательно, на дорогу победоносной революции.

3. ПЛАН РЕВОЛЮЦИОННОГО ПЕРЕВОРОТА

Описывать последствия победы «реформы» над революцией в России 60-х годов излишне. Это значило бы написать историю страны с 19 февраля 1861 года по 25 октября 1917 года. На полвека с лишним эта победа консервировала дворянскую монархию, остатки крепостничества, зверскую эксплоатацию трудящихся, сохранила Угрюм-Бурчеевых и Распутиных наверху, Держиморд и унтеров Пришибеевых внизу, держала страну на уровне азиатской отсталости в производстве, технике, культуре.

Историческое значение Чернышевского определяется тем, что в этот переломный момент он, во-первых, с наибольшей ясностью видел, куда ведет победа этого пути, во-вторых, с наибольшей решительностью боролся против этой победы, в-третьих, с наибольшей последовательностью противопоставил этому пути — путь революционной ломки. Он стоял за революцию не потому, что любил грохот революционных битв и блеск эффектных исторических сцен. Он не был любителем «эффектов». Он готов был признать в абстракции, что «мирный путь» развития «экономнее», и ряд исследователей, плохо понимавших его позицию и его иронию, поспешили сделать из этого кучу ошибочных выводов [61]. Правда, они могли при этом опираться на несомненно имевшиеся у Чернышевского в этом пункте противоречия, на ряд его высказываний в том духе, что столкновение взаимопротивопоставленных сил ведет к их растрате, что предпочтительнее силами разума преодолеть неизбежность прямого столкновения борющихся групп, т. е. на все те черты мировоззрения Чернышевского, которые отделяют последнее от учения Маркса о классовой борьбе как ведущем начале человеческой истории. Этих черт, черт идеалистического истолкования истории, у Чернышевского было много. От марксового понимания и истолкования классовой борьбы,

ее основ, ее роли и ее хода он был далек. Чернышевский был представителем и идеологом крестьянской, а не пролетарской революции.

Но, во-первых, он твердо знал — мы в этом уже убедились, — что «мирный» путь это — в данном конкретном случае — просто лживое слово для прикрытия грязной сделки двух фракций господствующих классов за счет и на спине трудящихся масс.

Он твердо знал, во-вторых, что «мирного» пути исторического развития вообще не существует, что это — историческая абстракция, лживая выдумка лакеев господствующих классов, называющих «мирными» те периоды истории, когда угнетенные «мирно», не протестуя несут иго, надетое на них угнетателями. Философия исторического процесса у Чернышевского носила совсем другой характер. «Я знаю, что без конвульсий нет никогда ни одного шага вперед в истории, — записал он в 1850 году. — Разве и кровь в человеке движется не конвульсивно? Биение сердца, разве не конвульсия? Разве человек идет не шатаясь? Глупо думать, что человечество может итти прямо и ровно, когда это до сих пор никогда не бывало»[62].

Через 10 лет, открывая в «Современнике» отдел политического обозрения, он предпослал ему общее изложение своих взглядов на ход человеческой истории, на смену и роль в ней «мирных» и «революционных» периодов. Эти строки Чернышевского совершенно замечательны. Надо только, читая их, помнить, что Чернышевский писал под угрозой цензорского карандаша и что поэтому «революция», «революционный период» фигурируют здесь под именем «счастливого случая», «усиленной работы», «благородного порыва», «скачков» и т. п.

Вот эти строки Чернышевского:

«Исторический прогресс совершается медленно и тяжело... Сравните состояние общественных учреждений и законов Франции в 1700 году и ныне, — разница чрезвычайная, и вся она в выгоду настоящего; а между тем, почти все эти полтора века были очень тяжелы и мрачны. То же самое и в Англии. Откуда же разница? Она постоянно подготовлялась тем, что лучшие люди каждого поколения находили жизнь своего времени чрезвычайно тяжелою; мало-по-малу хотя не многие из их желаний становились понятны обществу, и потом, когда-нибудь, через много лет, *при счастливом случае общество полгода, год, много три или*

четыре года работало над исполнением хотя некоторых из тех немногих желаний, которые проникли в него от лучших людей. Работа никогда не была успешна: на половине дела уже истощалось усердие, изнемогала сила общества, и снова практическая жизнь общества впадала в долгий застой, и попрежнему лучшие люди, если переживали внушенную ими работу, видели свои желания далеко не осуществленными и попрежнему должны были скорбеть о тяжести жизни. *Но в короткий период благородного порыва многое было переделано...*

Прогресс совершается чрезвычайно медленно, в том нет спора: но все-таки *девять десятых частей того, в чем состоит прогресс, совершается во время кратких периодов усиленной работы. История движется медленно, но все-таки почти все свое движение производит скачок за скачком,* будто молоденький воробушек, еще не оперившийся для полета... Но не забудьте, что все-таки каждым прыжком она учится прыгать лучше, и не забудьте, что все-таки она растет и крепнет, и со временем будет прыгать прекрасно, скачок быстро за скачком, без всякой заметной остановки между ними. А еще со временем птичка и вовсе оперится и будет легко и плавно летать с веселою песнею... Таков общий вид истории: ускоренное движение и вследствие его застой, и во время застоя возрождение неудобств, к отвращению которых была направлена деятельность, но с тем вместе и укрепление сил для нового движения, и за новым движением новый застой, и потом опять движение, и такая очередь до бесконечности. Кто в состоянии держаться на этой точке зрения, тот не обольщается излишними надеждами в светлые эпохи одушевленной исторической работы: он знает, что *минуты творчества непродолжительны* и влекут за собою временный упадок сил. Но зато не унывает он и в тяжелые периоды реакции: он знает, что из реакции по необходимости возникает движение вперед, что сама реакция приготовляет и потребность и средства для движения. Он не мечтает о вечном продолжении дня, когда поля облиты радостным, теплым светом солнца. Но когда охватит их мрачная, сырая и холодная ночь, он с твердою уверенностью ждет нового рассвета и, спокойно всматриваясь в положение созвездий, считает, сколько именно часов осталось до появления зари».

Трудно было в царской подцензурной печати сказать яснее: историю движут революции, прогресс творят револю-

ции, так называемые «мирные эпохи» — это эпохи реакции, застоя, бессилия масс, торжества эксплоататоров.

Только через 45 лет после того, как написаны были эти строки Чернышевским, другой русский «публицист», вскрыв, развернул до конца, наполнил конкретным содержанием гениальные намеки и догадки Чернышевского. Завершая ту борьбу с апологетами «мирного» развития, которую начал на русской почве Чернышевский, этот «публицист» писал:

«Когда история человечества подвигается вперед со скоростью локомотива, это — «вихрь», «поток», «исчезновение всех принципов и идей». Когда история движется с быстротой гужевой перевозки, это — сам разум и сама планомерность. Когда народные массы сами, со всей своей действенной примитивностью, простотой, грубоватой решительностью, начинают творить историю, воплощать в жизнь прямо и немедленно «принципы и теории», — тогда буржуа чувствует страх и вопит, что «разум отступает на задний план» (не наоборот ли, о, герои мещанства? не выступает ли в истории именно в такие моменты разум масс, а не разум отдельных личностей, не становится ли именно тогда массовый разум живой действенной, а не кабинетной силой?). Когда непосредственное движение масс придавлено расстрелами, экзекуциями, порками, безработицей и голодовкой, когда вылезают из щелей клопы содержимой на дубасовские деньги профессорской науки и начинают вершить дела за народ, от имени масс, продавая и предавая их интересы горсткам привилегированных, — тогда рыцарям мещанства кажется, что наступила эпоха успокоенного и спокойного прогресса, «наступила очередь мысли и разума». Буржуа всегда и везде верен себе; ...везде эта ограниченная, профессорски-педантская, чиновнически-мертвенная оценка революционных и реформистских периодов. Первые — периоды безумия, folle Iahre; *, исчезновение мысли и разума. Вторые — периоды «сознательной, систематической» деятельности... Дело в том, что именно революционные периоды отличаются большей широтой, большим богатством, большей сознательностью, большей планомерностью, большей систематичностью, большей смелостью и яркостью исторического творчества по сравнению с периодами мещанского, кадетского, реформистского прогресса.

---

* «Безумные годы»; «безумным годом» называли буржуазные публицисты и историки 1848 год.

А господа Бланки изображают дело навыворот! Они убожество выдают за исторически-творческое богатство. Они бездеятельность задавленных или придавленных масс рассматривают как торжество «систематичности» в деятельности чиновников-буржуев. Они кричат об исчезновении мысли и разума, когда вместо кромсания законопроектов всякими канцелярскими чинушами и либеральными penny-aliner'ами (писаками, живущими с построчной платы) наступает период непосредственной политической деятельности «простонародья», которое попросту прямо, немедленно ломает органы угнетения народа, захватывает власть, берет себе то, что считалось принадлежащим всяким грабителям народа, одним словом, когда именно просыпается мысль и разум миллионов забитых людей, просыпается не для чтения только книжек, а для дела, живого человеческого дела, для исторического творчества».

Так писал Ленин в 1906 году, сжимая в эти пламенные строки великие уроки первой русской революции, — и не трудно видеть, что эти слова — величайшее оправдание схемы, выдвинутой в 1859 году Чернышевским против современных ему Бланков.

К этим Бланкам, к «принципиальным» проповедникам «мирного» пути, к либералам и прогрессистам, он не мог не питать органической ненависти. Ненавидя эксплоататоров, он ненавидел и их лакеев, честных и бесчестных, сознательных и бессознательных, Чернышевский хорошо понимал, что проповедь революции (крестьянской во время Чернышевского) возможна только путем окончательного дискредитирования, осмеяния и уничтожения всех надежд на реформистские пути развития.

Без всякого преувеличения можно сказать, что отношение Чернышевского к либерализму послужило прототипом отношения большевиков к кадетам и что именно Чернышевский создал в русской политической жизни ту традицию беспощадного отношения к либеральному реформаторству на всех стадиях революционного процесса, которая полнее всего и ярче всего выразилась в политике Ленина. И так же, добавим здесь, как отношение Ленина к либерализму было целиком оправдано всем ходом революции и в частности позицией кадетов в открытой гражданской войне 1917 и следующих годов, так и отношение Чернышевского к современным ему либералам было целиком оправдано ходом реформы 1861 года и ее результатами.

Но Чернышевский не был только теоретическим сторонником и проповедником революционного пути развития. Он хранил в себе также задатки гениального политического тактика. Условия для проявления этих задатков сложились весьма неблагоприятно. Для их выявления была открыта только очень узкая арена журнальной полемики и кружковой организации. Но, присматриваясь к тому, как ставил Чернышевский политические вопросы, к методам его журнальной полемики, к его отношениям с литературно-политическими деятелями его эпохи, наконец, к его организационным шагам в деле сплочения вокруг себя единомышленников, нельзя не притти к заключению, что в лице Чернышевского мы имеем зачаточные черты тактика того же типа, которого в гениальном, всемирно-историческом масштабе увидел мир в лице Ленина. Это, конечно, очень высокая оценка, но чем больше вчитываешься в произведения Чернышевского, тем больше убеждаешься, что в этом сравнении нет преувеличения.

Потребовалась бы кропотливая, мозаичная, до сих пор еще не проделанная работа анализа различных высказываний Чернышевского, чтобы дать полную картину его тактических приемов. Мы не можем заняться ею здесь. Но общий набросок стратегического плана и тактической установки Чернышевского здесь необходим.

Суммируя отдельные намеки в его статьях и действиях и воспоминания современников, сопоставляя этот материал с окружавшей Чернышевского обстановкой, можно, кажется, с большой долей уверенности предположить, что рассуждал он так:

«Революционный кризис неизбежен. Он надвигается. Когда он придет. неизвестно. Но ждать его придется не слишком долго. Его основным элементом должно явиться крестьянское восстание. Без крестьянского восстания ничего мало-мальски серьезного произойти не может. Взяв в свои руки дело освобождения крестьян, правительство пока успешно оттягивает его, питая крестьян ложными надеждами. Но правительство и дворянство не хотят и не могут провести дело освобождения соответственно интересам и требованиям крестьянства. Крестьянство — неорганизованно, политически малосознательно. Оно ждет результатов обещанной реформы. Получив ее, оно неизбежно убедится, что его обманули. Разоблаченный *на деле*, выяснившийся для самых широких, для самых отсталых и забитых масс

обман послужит действительным стимулом широкого, народного, массового революционного движения. Недаром Александр II готовится к моменту объявления «воли» перевести всю Россию на осадное положение, недаром он делит Россию на округа и во главе каждого заранее ставит военных генерал-губернаторов со сверхординарными полномочиями. Недаром на докладе своего министра, оспаривавшего необходимость специальных усмирителей ссылкой на то, что народ спокоен, царь написал: «Все это, так, пока народ находится в ожидании, но кто может поручиться, что когда новое положение будет приводиться в исполнение и народ увидит, что ожидания его, то есть свобода по его разумению, не сбылись, не настанет ли для него минута разочарования? Тогда уже будет поздно послать отсюда особых лиц для усмирения» [63]. Противник предусмотрителен, надо быть предусмотрительными и нам.

Александр готовит для восстания военных генерал-губернаторов. Мы должны готовить своих руководителей. Подготовленных для этого людей мало. «Крестьянофилы» из дворян, либералы типа Кавелина при первых вестях о крестьянском движении побегут в лагерь правительства. Их надо заранее трактовать как врагов.

Разбросанное по огромной стране, неизбежно плохо организованное движение может распылиться, изойти силами в отдельных местных вспышках, если оно не будет энергично поддержано из Петербурга, если в соответствующий момент в центре страны, в средоточии правительственной власти не найдется сильной, сплоченной, знающей свои цели, с готовой программой действий группы твердых и решительных людей, которая возглавит движение. Мы должны готовиться к этому моменту и быть готовы к нему. В стране и в Петербурге нет другой группы, готовой и способной выполнить эту задачу, кроме той, которая признает своим руководителем Николая Чернышевского. Эта группа — единственный возможный идейный и организационный центр государственного переворота, кадры революционного правительства, без организации которого победа восстания невозможна. Она не должна позволить правительству заранее ликвидировать себя и тем обезглавить движение, свести к нулю шансы победы. Она должна действовать осмотрительно, все знать, за всем наблюдать, все контролировать, все подготовлять, но не вылезать преждевременно вперед. Зато в определенный момент она должна высту-

пить открыто, решительно, без оглядки на возможные последствия и действовать энергично и беспощадно. Когда наступит этот момент? — Вероятно, вскоре после объявления обманной «воли», может быть, впрочем, он оттянется до 1863 года, когда должно закончиться размежевание земель между помещиками и крестьянами.

Легальные возможности ценны. Публика научилась читать между строк. Среди десятка тысяч читателей «Современника», вероятно, найдется несколько сотен таких, которые смогут стать руководителями движения на местах и верными агентами революционного правительства. Но «легальных возможностей» недостаточно. Надо в известный момент перейти к «нелегальным» орудиям воздействия, апеллировать прямо к народу, заговорить с ним прокламациями на понятном ему языке. С этим нельзя опоздать».

Таков план. В его рамки укладывается вся политическая деятельность Чернышевского конца 50-х и начала 60-х годов. Мы не знаем и, вероятно, не узнаем, в какой мере был прикосновенен Чернышевский лично к прокламациям «Великорусса», к поездке Михайлова в Лондон для печатанья «К молодому поколению», к студенческому движению, к делам тайных типографий в Москве, к первой «Земле и воле». Он был конспиративен из принципа и осторожен из правильного политического расчета. Но нет ни одного революционного, как ни одного общественного начинания тех дней, за кулисами которого не чувствовалось бы влияние Чернышевского. Оно несомненно налицо и в студенческом движении, и в работе тайных типографий, и в «Литературном фонде», и в «Шахматном клубе» (невинные названия для двух тогдашних попыток создать в Петербурге нечто вроде политического клуба), и в «Земле и воле». Связи его чрезвычайно разнообразны. Его посещают — кроме товарищей по перу, среди которых и авторы имеющих вскоре появиться прокламаций, Шелгунов и Михайлов — и руководители студентов, и наиболее видные из представителей офицеров, окончивших Военную академию (среди них—будущий начальник Главного штаба и один из авторов прокламации «Что надо делать войску?», Н. Н. Обручев; будущие бригадные и корпусные командиры В. М. Добровольский и Н. Д. Новицкий, тогда настроенные очень радикально; С. И. Сераковский, в будущем начальник одного из крупнейших военных отрядов в польском восстании, и т. д.). Все более крупные представители будущих

«Великорусса», «Земли и воли», московского революционного кружка оказываются близко известными Чернышевскому. В то же время он поддерживает связи с либералами (Кавелин) и не отказывается взглянуть поближе на людей, вершащих крестьянское дело в правительственной среде (Н. Н. Милютин, Я. А. Соловьев и т. д.). Когда это становится необходимым в целях выяснения взаимных позиций, он совершает конспиративную поездку в Лондон, к Герцену, редактору «Колокола», единственного тогда бесцензурного органа русской печати. Он вмешивается даже своими «Письмами без адреса» в конституционное брожение среди верхов дворянства и теми же письмами ставит на очередь вопрос о личной роли и личной ответственности царя (Александр II и есть действительный адресат «Писем без адреса»). Он не оставляет таким образом без своего воздействия ни одного фактора складывающейся политической ситуации, расценивая каждый из них с точки зрения успеха подготовляемого и ожидаемого массового народного восстания. Иначе говоря, он планомерно выполняет тактический совет, который впоследствии, на заре широкой политической деятельности русской социал-демократии, дал ей Ленин: «*итти во все классы общества*». Формула эта значила: — исподволь и планомерно подготовлять условия. при которых организованная и передовая группа революционеров, связанная с массами, могла бы встать во главе общенародного революционного движения. Конкретно это обозначало, во-первых, проникать со своей революционной проповедью во все слои общества, «контролировать» их действия, изучать заранее их возможные позиции в революционный момент, во-вторых, «подталкивать» годные для этого элементы к более решительным действиям, к более точным формулировкам своих надежд и требований, в-третьих, выковывать на этой работе всесторонне осведомленную, хорошо ориентированную во всем переплете общественных отношений, твердую в своей программе и в своей тактике руководящую группу революционеров, штаб народного движения, в-четвертых, обеспечить ей условия гегемонии в общественной борьбе.

В Петербурге 1857 — 1862 годов Чернышевский один сознательно, систематически, упорно работал над этими задачами.

В 1857 году Чернышевский говорил своей жене:

«Ты знаешь, я держу себя осторожно... Одно может

повредить тебе с Володей [сын]: перемена обстоятельств. Дела русского народа плохи. Будь что-нибудь теперь, нам с тобой еще ничего. Обо мне еще никто не позаботился бы. Но моя репутация увеличивается. Два — три года, — будут считать меня человеком с влиянием. Пока все тихо, то ничего... Но не могу не видеть, что через несколько времени...» [64].

Спустя некоторый срок жена Чернышевского говорила общему знакомому, повторяя, конечно, лишь мысли, внушенные ей мужем: «Вы знаете, как теперь начинают думать о нем. *Но его время еще не пришло*, они еще не понимают его мыслей; *придет его время*, тогда заговорят о нем... Я хочу, чтобы о моем муже говорили когда-нибудь, что он раньше всех понимал, что нужно для пользы народа, и не жалел для пользы народа не то что себя, не жалел и меня, — и будут говорить это!» [65].

«Наше время еще не пришло» — несомненно говорил себе Чернышевский, сидя над своим трактатом об эстетике, над статьями о Пушкине, над разбором стихов графини Растопчиной, даже составляя свои «примечания к Миллю», даже работая над статьями о начатой правительством крестьянской реформе. Он правильно считал, что «его время» начнется тогда, когда *миллионы на деле* узнают и увидят, какую «волю» приготовили для них царско-дворянские канцелярии, когда будут реальные шансы на то, чтобы сомкнуть свою деятельность с движением этих миллионов. Этот момент стал быстро надвигаться с опубликованием «Положения 19 февраля 1861 года».

На 19 февраля круг Чернышевского реагировал немедленно четырьмя прокламациями. Член первой «Земли и воли», близко стоявший тогда к Чернышевскому, А. А. Слепцов в своих воспоминаниях писал: «Имелось в виду обратиться последовательно ко всем тем группам, которые должны были реагировать на обманувшую народ реформу 19 февраля. Крестьяне, солдаты, раскольники (на которых тогда вообще возлагали большие и весьма, конечно, ошибочные революционные надежды) — здесь три страдающих группы. Соответственно с этим роли были распределены следующим образом: Чернышевский, как знаток крестьянского вопроса... должен был написать прокламацию к крестьянам; Шелгунов и Николай Обручев взяли на себя обращение к солдатам; раскольников поручили Щапову, а потом, не помню по каким обстоятельствам, передали тоже

Николаю Гавриловичу; молодое поколение взяли Шелгунов и Михайлов. О таком плане и его выполнении мне сказал сам Чернышевский, знал о нем и Н. Н. Обручев, потом из боязни быть расшифрованным уклонившийся от участия в общем деле» [66].

Прокламация Чернышевского — замечательный документ русской политической мысли и выдающийся образчик русской революционной литературы. Вот ее начало:

К АРСКИМ КРЕСТЬЯНАМ

Барским крестьянам от их доброжелателей поклон!

Ждали вы, что даст вам царь волю, — вот вам и вышла от царя воля.

Хороша ли воля, которую дал вам царь, — сами вы теперь знаете.

Далее идет поразительная, непревзойденная и до сих пор по своей точности, четкости, ясности, простоте, сжатости и убедительности, критика Положения 19 февраля. Никто, кроме Чернышевского, не мог с такой ясностью и силой вскрыть действительное, реальное, интересующее миллионы содержание этого запутаннейшего и каверзнейшего продукта дворянского творчества, облеченного канцелярскими крючкотворами в сотни параграфов. Нужно было так знать крестьянское дело, как знал его Чернышевский, так следить за всеми его фазами, как следил Чернышевский, чтобы с такой ясностью вскрыть народу весь обман, все заготовленные в нем для крестьянства скорпионы. В прокламации это сделано поистине мастерски.

Показав, что «освобождение» несет не волю, а новое рабство, прокламация спрашивает:

«А как же нам, русским людям, вправду вольными людьми стать? Можно это дело обработать, и не то, чтобы очень трудно было; надо только единодушие иметь между собой мужикам, да сноровку иметь, да силой запастись». О роли революционного центра, от имени которого обращалась к народу прокламация, в ней говорилось:

«А когда промеж вас единодушие будет, в ту пору и назначение выйдет, что пора, дескать, всем дружно начинать. Мы уже увидим, когда пора будет, и объявление сделаем. Ведь у нас по всем местам свои люди, — отовсюду нам вести приходят, как народ, да что народ. Вот мы и знаем, что покудова еще нет приготовленности. А

когда приготовленность будет, нам тоже видно будет. Ну, тогда и пришлем такое объявление, что пора, люди русские, доброе дело начинать, что во всех местах в одну пору начнется доброе дело, потому что везде тогда народ готов, и единодушие в нем есть, и одно место от другого не отстанет. Тогда и легко будет волю добыть. А до той поры готовься к делу, а сам виду не показывай, что к делу подготовление у тебя идет... Мы все люди русские и промеж вас находимся, только до поры, до времени не открываемся, потому что на доброе дело себя бережем, как и вас просим, чтобы вы себя берегли. А когда пора будет за доброе дело приняться, тогда откроемся» [67].

Нет никаких сомнений в том, что воззвание к народу отражало подлинные мысли Чернышевского: он хотел победы, а для этого—мало-мальски подготовленного, мало-мальски организованного восстания. Он готовил кадры руководителей и агентов. Он собирался «открыться», то есть открыто выступить как глава народного движения в определенный момент. Вот почему, когда группа московской революционной молодежи, учеников Чернышевского, выпустила прокламацию, написанную в слишком экзальтированных тонах и призывавшую к восстанию в словах, слишком общих, но зато чрезвычайно кровожадных, Чернышевский, несмотря на то, что по существу прокламация лишь повторяла его собственные мысли, по тактическим соображениям осудил это выступление. Скоро появилась новая прокламация: «Предостережение». Автор ее неизвестен, но она несомненно внушена Чернышевским *. «Предостережение» характеризует прокламацию москвичей как произведение людей «пылких» и «экзальтированных», но защищает их от «нелепых обвинений», заявляя, что «облегчение судьбы простого народа не будет слишком дорого куплено ценою революции», что русский народ — накануне восстания, и предостерегая публику от правительственной провокации и от паники. Весь этот эпизод свидетельствует, что Чернышевский относился с громадным вниманием к тому, что делается в революционной среде, и придавал огромное значение своевременности, серьезности и обоснованности революционных выступлений.

«Предостережение» кончалось словами: «Нас узнают

* Я лично думаю, что она и написана им; ручательство — весь ее политический тон и стиль, в котором трудно не узнать Чернышевского.

только тогда, когда мы явимся сами в рядах народа». Это почти буквальное повторение заключительных абзацев воззвания «К барским крестьянам» и вместе с тем раскрытие смысла слов жены Чернышевского, им самим вложенных в ее уста: «Его время еще не пришло: время его придет».

Нельзя сомневаться: момент, когда Петербурга достигла бы весть о начавшемся народном движении, застал бы автора воззвания к крестьянам во всеоружии: план революционного переворота был давно обдуман, штаб движения намечен; на его столе лежал бы список членов нового революционного правительства и программа его действий. Оно было бы решительно и последовательно. Это было бы правительство революционной диктатуры восставшего крестьянства против монархии и помещиков. Очистив страну от всех остатков и пережитков крепостничества, оно попыталось бы провести ряд социалистических мероприятий. Во главе его стоял бы Н. Г. Чернышевский и вел бы дело революции твердо, решительно, энергично, не колеблясь принимать для обеспечения победы народа самые крайние и суровые меры.

Кто усомнится в этом, пусть прочтет следующие слова:

«Если большинство бывает виновно в том, что исторические дела бросаются обыкновенно, не будучи доделаны как следует, то предводители большинства еще чаще бывают виновны в том, что дело подавляется в самом своем зародыше гораздо прежде, чем большинство успело бы охладеть к нему. Великие люди едва ли не потому только и бывают великими людьми, что спешат ковать железо, пока оно горячо; умеют не терять дней, пока обстоятельства благоприятствуют делу. Но известно, что не может ковать железо тот, кто боится потревожить сонных людей стуком. Только энергия может вести к успеху, хотя б к половинному, если полного успеха почти никогда не дает история; а энергия состоит в том, чтобы, не колеблясь, *принимать такие меры, какие нужны для успеха.* И Суворов, и Наполеон, да и все великие полководцы, начиная с Александра Македонского... известны тем, что не жалели жертв для одержания победы: их сражения были вообще страшно кровопролитны... Что о войне, то же самое надобно сказать и о всех исторических делах: если вы боитесь или отвращаетесь тех мер, которых потребует дело, то и не принимайтесь за него и не берите на себя ответственности руководить им, потому что вы только испортите дело... Кто не хочет средств, тот должен

отвергать и дело, которое не может обойтись без этих средств. Кто не хочет волновать народ, кому отвратительны сцены, неразрывно связанные с возбуждением народных страстей, тот не должен и брать на себя ведение дела, поддержкой которого может служить только одушевление массы» [68].

Эти слова написал Чернышевский в 1859 году. Можно ли усомниться, что в момент революции он осуществил бы их!

4. ПРОГРАММА РЕВОЛЮЦИИ

К какой же именно революции звал Чернышевский?

Как он представлял себе эту революцию?

Ленин ответил на этот вопрос с исчерпывающей полнотой и абсолютной исторической точностью. «Чернышевского и его учеников, — писал он в своей первой крупной работе, через пять лет после смерти Николая Гавриловича, — одушевляла *вера в возможность крестьянской социалистической революции*». Их политическая программа была «*программой, рассчитанной на то, чтобы поднять крестьянство на социалистическую революцию против основ современного общества*» [69].

Эта программа в эпоху 60-х годов не могла не оказаться утопичной. Ленин, применив учение Маркса к русским условиям, доказал, а ход классовой борьбы и история трех революций подтвердили, что широкое массовое революционное движение крестьянства в России было возможно только под руководством класса наемных рабочих, а социалистическая революция осуществима только в виде пролетарской революции, ведущей за собой определенные слои деревни — прежде всего крестьянскую бедноту — на борьбу с другими, капиталистическими элементами той же деревни. Материальных предпосылок осуществления социалистической программы Чернышевского в 60-х годах еще не существовало. Одним из важнейших элементов этих условий было оформление и классовая выучка пролетариата. Это потребовало нескольких десятилетий, отделяющих тот момент, когда Чернышевский выставил программу крестьянской социалистической революции, от момента массовой борьбы 1905—1917 годов.

Развитие общественных отношений после 60-х годов, однако, не отменяло задачу аграрной революции, выдви-

нутую Чернышевским, как полагали, не только российские либералы, но и меньшевистская социал-демократия. Эта задача оставалась в порядке дня, но она должна была стать лишь одной из составных частей более широкой и более реальной программы пролетарско-крестьянской революции, в ходе своего развития перерастающей в социалистическую революцию.

С точки же зрения борьбы общественных сил в 60-х годах программа Чернышевского была крайним, наиболее полным, наиболее глубоким, наиболее последовательным выражением революционных тенденций крестьянских масс, их стремления освободиться не только от крепостной власти помещиков, но и от всех тех условий, которые создают закабаление громадного большинства трудящихся кучкой богачей. С этой точки зрения как нельзя более характерно, что Чернышевский никогда не разделял взглядов прогрессистов всех мастей на «освобождение крестьян» как на благо само по себе. Он всегда смотрел на уничтожение крепостного права помещиков над крестьянами лишь как на предварительный шаг, на элементарное условие гораздо более глубокой и революционной перестройки всех основ современного ему общества. Освобождение от крепостной зависимости он рассматривал не только и не столько с точки зрения демократа, а прежде и раньше всего с точки зрения социалиста, уже подвергнувшего самой резкой и очень глубокой социалистической критике тот капиталистический строй, который шел на смену строя крепостнического *. Петь дифирамбы смене крепостничества капитализмом Чернышевский предоставлял капиталистам и их идейной челяди. Сам же он мечтал об использовании кризиса государства, потрясенного разложением крепостного хозяйства, крестьянскими движениями и Крымской войной, — для революционного массового выступления, для

---

* Он написал трактат по политической экономии в виде примечаний к своему переводу «Политической экономии» Милля. Марксистская мысль в лице Г. В. Плеханова давно, еще в 90-х годах, вскрыла допущенные им здесь теоретические ошибки. Но в течение десятилетий эта книга служила *учебником социализма* для русских революционеров, а К. Маркс в предисловии к «Капиталу», указав, что теория Милля свидетельствует о банкротстве буржуазной политической экономии, добавил: «Как это мастерски выяснил уже в своих «Очерках политической экономии по Миллю» великий русский ученый и критик Н. Чернышевский».

закладки хотя бы некоторых основных камней социалистического строя.

Естественно, что в насквозь почти аграрной России 60-х годов, в атмосфере «крестьянской реформы», этими основными камнями фундамента будущего социалистического строя Чернышевскому казались: полная экспроприация помещичьей земли и общественное пользование ею. Это было той брешью в ненавистном для социалиста Чернышевского принципе частной собственности, которую — казалось ему — можно и должно было сделать, пользуясь обстановкой революционного кризиса 60-х годов.

Через 26 лет после удара, выбившего его из рядов активных бойцов, уже в год своей смерти Чернышевский видел основной признак политической платформы своей группы в признании того, что «освобождение из-под помещичьей власти само по себе еще недостаточно для улучшения быта освобождаемых крестьян и очень возможны такие обстоятельства, что судьба их станет хуже, чем была под властью помещиков».

Смысл этого намека полностью раскрывается письмом Чернышевского от июня 1857 года:

«Скажите, — писал он своему корреспонденту, сторонику либеральной формулы освобождения крестьян, — неужели невозможно сохранить принцип: «каждый земледелец должен быть землевладельцем, а не батраком, должен сам на себя, а не на арендатора или помещика работать»? ...Как скоро допустим, что при эмансипации земля дается в полную собственность не общине, а отдельным семействам, с правом ее продажи, они продадут свои участки, и большинство сделается бобылями... Освобождение будет, когда — я не знаю, но будет; мне хотелось бы, чтобы оно не влекло за собой превращения большинства крестьян в безземельных бобылей. К этому я хотел приготовить мысль образованных людей, давно приготовленных к эмансипации»[71].

Итак, не освобождение от крепостнической зависимости само по себе занимало мысль Чернышевского. Он считал эту реформу назревшей, неизбежной и настолько элементарной, что она не требовала особой пропаганды с его стороны. Задачей своей борьбы он ставил — создать такие условия освобождения, которые гарантировали бы наибольшее продвижение к социалистическому устройству общества.

Но принцип частной собственности на землю вышел из данного кризиса не ослабленным, а наоборот, — укрепленным. Задача аграрной революции на базе экспроприации помещичьего землевладения осталась в наследство будущим поколениям, и в течение десятилетий, вплоть до Октябрьской революции 1917 года, продолжала быть одним из основных двигателей революционного процесса. А постольку и традиции революционной борьбы Чернышевского и его программа; *поднять крестьянство на социалистическую революцию* — не умирали, а оставались необходимой и чрезвычайно важной составной частью всякой подлинно революционной программы и тактики.

Для марксистов ясно, что строить социализм на крестьянской революции и мелком крестьянском земледелии, хотя бы на общинных началах, было утопией. Но именно в этой утопической форме, и только в ней, могла проявиться в России 60-х годов подлинно революционная постановка вопроса о борьбе крестьянства за полное освобождение страны от всяких и всяческих остатков крепостничества. Только ленинизм, опираясь на рабочий класс, освободив эту программу от утопических черт и прежде всего от ложного представления об «едином» крестьянстве, выделив в нем те слои, которые могут итти за пролетариатом в его борьбе за социализм, сумел воплотить ее в жизнь.

V. ПЕРЕОЦЕНКА ЦЕННОСТЕЙ

I. ФИЛОСОФИЯ

Чернышевский был политиком. Но его политика была неразрывно связана с его цельным мировоззрением. Он был политиком-мыслителем. А условиями своей работы он принужден был даже уделять гораздо более времени и места статьям по философии, эстетике, литературной критике, чем собственно политическим темам. Этими статьями он преследовал те же задачи, которые вдохновляли его политическую деятельность: *разрушить* господство культуры рабовладельцев над телами и умами человечества, *вооружить* русскую революцию правильными, научными представлениями о сущности человеческих отношений и тем *сделать ее сильнее* в предстоящей работе их коренной переделки, в создании *новой культуры*.

Революционное потрясение, в период которого входила Россия, неизбежно должно было потребовать от руководителей отдельных течений общественной мысли общего обоснования своих позиций. Новая революционно-демократическая идеология должна была вооружиться цельным философским миросозерцанием для тех боев, которые ей предстояли. В этой области положение ее было одновременно и выгодным и невыгодным. Невыгодным оно было в том смысле, что ей противостояли законченные философские мировоззрения, созданные тысячелетиями, глубоко укоренившиеся и готовые в каждый нужный момент представить господствующим группам длинный ассортимент теорий и аргументов.

Это было традиционное религиозное мировоззрение, которое готово было служить свою службу охраны существующего порядка не только в руках официальных мракобе-

сов, но и в руках таких «просвещенных» защитников монархии и дворянства, как славянофилы, с одной стороны, умеренные западники типа Чичерина и Каткова — с другой. Не случайно главным бойцом против Чернышевского англоманский «Русский вестник» и либеральные «Отечественные записки» выставили профессора духовной академии, богослова Юркевича. Недурно с своей точки зрения были вооружены и «левые» представители дворянско-буржуазной идеологии: к их услугам находилась вся система идеалистической философии в ее наиболее высоких достижениях — от Канта до Гегеля. К услугам тех, кому доспехи этой философии казались слишком громоздкими, была эклектическая похлебка, изготовлявшаяся многочисленными профессионалами-философами, вышедшими из школы немецкого идеализма, и в частности довольно распространенная в России философия французского эклектика Кузена.

Революционно-демократическая идеология в России давно напрягала усилия для того, чтобы противопоставить этим системам такое философское мировоззрение, которое могло бы служить теоретической предпосылкой и оправданием революционных задач. Белинский, Бакунин и Герцен были главными представителями этих усилий русской мысли сформулировать на основе западно-европейской философии философские предпосылки революционной практики в крепостнической России. В начале 40-х годов они открыли с чувством величайшей радости и удовлетворения начала подобной философии в сочинениях левых гегельянцев. Но Белинский умер на пороге революции 1848 года. Герцен эмигрировал, Бакунин сидел в Алексеевском равелине. Революция 1848 года вызвала реакционное, попятное движение мысли не только в Европе, но и в России. Бывшие единомышленники Белинского и Герцена, их попутчики в деле преодоления религиозно-идеалистической философии быстро и решительно поправели. Цепь развития была оборвана.

Вся работа по подготовке элементов революционно-демократической идеологии ушла в подполье. Легальная литература 1848—1855 годов представляла бесплодную пустыню, выжженную страхом перед революцией. Прилизанный эстетизм, сладенькая водичка идеалистического эклектизма, пикантный анекдотизм («чернокнижие») — вот все, что могла дать тогда легальная литература. Но рядом с этой официальной литературой не прекращало своего существования идейное подполье. Разгром петрашевцев не

убил его, а только заставил глубже уйти в себя, отказаться от каких-либо активных проявлений и сосредоточиться на углубленной проработке тех идей, которые в ближайшие годы, в той или другой форме, прорвали себе дорогу и в легальную журналистику. Это было подполье разночинцев-студентов, семинаристов, учителей, врачей, литераторов. Здесь хранились традиции Белинского и Герцена, перечитывались и изучались их статьи в «Отечественных записках» и «Современнике». Среди последних были, между прочим, те самые «Письма об изучении природы» Герцена, о которых Плеханов писал впоследствии, что многие их страницы легко принять за произведение Энгельса 70-х годов, а не Герцена 40-х. «Это поразительное сходство показывает, — добавлял Плеханов, — что ум Герцена работал в том самом направлении, в каком работал ум Энгельса, а стало быть и Маркса». Это важно отметить, потому что Чернышевский в ряде мест указывает именно на эти статьи, как на лучшее, то есть наиболее последовательное и, следовательно, революционное, изложение философских достижений европейской мысли *. Если прав Плеханов — а он несомненно прав, — что ход мысли Герцена в этих статьях напоминает ход мысли Энгельса 70-х годов, то очень важно для понимания хода мысли Чернышевского отметить, что эти статьи Герцена были ему хорошо известны, высоко им расценивались и что его собственное философское развитие шло не назад от этих статей, а вперед. Этим намечается одно из реальных оснований того несомненного совпадения, которое в ряде случаев мы констатируем между историко-философскими высказываниями Чернышевского и философскими взглядами Маркса и Энгельса.

В этом подполье изучались французские утописты, левые гегельянцы, Прудон и Луи Блан. Философия Фейербаха была для него последним и высшим обобщением освободительных идеалов и стремлений. Из этого именно подполья вынес Чернышевский в легальную журналистику свою философию, эстетику и мораль «новых людей».

---

* Именно к этим статьям следует отнести замечание Чернышевского: «Развитие последовательных воззрений из двусмысленных и лишенных всякого применения намеков Гегеля совершилось у нас отчасти влиянием немецких мыслителей, явившихся после Гегеля, отчасти — мы с гордостью можем сказать это — собственными силами. Тут в первый раз русский ум показал свою способность быть участником в развитии общечеловеческой науки».

Рассматривать значение Фейербаха в ходе развития и подготовки революционно-социалистической мысли здесь не место. Известно, какую громадную роль сыграла философия Фейербаха в развитии взглядов Маркса и Энгельса.

«Кто не пережил освободительного влияния этой книги, — писал Энгельс о «Сущности христианства» Фейербаха, — тот не может и представить его себе. Мы все были в восторге, и все мы стали на время последователями Фейербаха.

Для того чтобы обосновать философию борющегося пролетариата, философии Фейербаха было, однако, недостаточно; его материализм должен был быть преодолен и превращен в диалектический материализм для того, чтобы стать философией пролетарской революции. Но для того, чтобы обосновать революционно-демократическую программу с общими социалистическими тенденциями, для того, чтобы послужить философским оправданием программы крестьянской революции против феодализма и либерального реформаторства, философия Фейербаха была вполне достаточна. Мало того, она была не только достаточна для этой цели, но и предоставляла своим сторонникам блестящий арсенал подлинно революционного вооружения; она обозначала действительный, решительный и непримиримый разрыв со всем миром поповства и идеализма, являлась великолепной системой освобождения ума и воли революционера-демократа от всех остатков старых воззрений и представлений. В этом именно виде она и была усвоена Чернышевским и положена им в основу его деятельности. Этим объясняется также, что Чернышевский никогда впоследствии не видел необходимости отступать от философии Фейербаха и находил в ней постоянно и до конца жизни достаточный арсенал аргументов для того, чтобы бороться со всеми видами идеалистической реакции как в области общественных наук, так и в области естествознания.

В год своей смерти, то-есть через 42 года после своего первого знакомства с Фейербахом и через 35 лет после своей первой попытки изложить учение Фейербаха в виде трактата об эстетике, Чернышевский победоносно отражает попытки кантианцев, позитивистов и агностиков в философии и естествознании, апеллируя к аргументации Фейербаха, причем делает это таким образом, что вызывает через 20 лет подлинный восторг Ленина. Именно в связи с этой работой Чернышевского Ленин называет его «единственным

действительно великим русским писателем, который сумел с 50-х годов до 1888 года остаться на уровне цельного философского материала»[73].

Процесс, которым Чернышевский пришел к своей критике идеализма, повторяет тот же процесс, которым молодые гегельянцы пришли к системе Фейербаха. Энгельс описывает этот процесс в следующих словах:

«Практические потребности борьбы против положительной религии привели многих из самых решительных молодых гегельянцев к английско-французскому материализму. А это поставило их в противоречие с их школьной системой... Тогда появилось сочинение Фейербаха «Сущность христианства». Одним ударом рассеяло оно это противоречие, снова и без всяких оговорок провозгласив торжество материализма. Природа существует независимо от какой бы то ни было философии. Она есть основание, на котором вырастаем мы, люди, ее произведения. Вне природы и человека нет ничего. Высшие существа, созданные нашей религиозной фантазией, это — лишь фантастические отражения нашей собственной сущности. Заклятие было снято: «система» была разбита и отброшена в сторону, противоречие разрешено простым обнаружением того обстоятельства, что оно существует только в воображении»[74].

Совершенно аналогичный процесс привел Чернышевского к его философской теории. И у него, как у Фейербаха, «практические потребности борьбы» с философией, этикой и эстетикой идеалистов и романтиков, освящавшими человеческое рабство, привели к провозглашению материалистической философии, принятой им как высшее обобщение познающей мысли человечества и, тем самым, как величайшее орудие освобождения человечества от груза суеверий и предрассудков, наследства эпох бессилия его ума и скованности его воли.

Мир существует вне и независимо от человеческого сознания. Законы его существования и изменения определяются свойствами (качествами) материи и не требуют, а, наоборот, исключают всякое предположение о существовании какого-либо другого, сверхчувственного мира. Этот объективный мир — до конца и насквозь познаваем, хотя еще и непознан. Человек — целиком продукт этого мира, «частный случай действия законов природы». «Философия видит в нем то, что видит медицина, физиология, химия; эти науки доказывают, что никакого дуализма в человеке не видно».

Физические и психические свойства человека — проявление той же сущности; психика — «превращение» физики по закону «перехода количества в качество». «Дух следует после чувства, а не чувство после духа; дух — это к о н е ц, а не начало вещей». Человеческому познанию не поставлены границы. Оно движется медленно, но движется по верному пути к действительному познанию объективного мира. Познав законы его существования и движения, человечество овладеет им, получит реальную опору для его изменения. Тогда-то известная уже нам «птичка» «и вовсе оперится и будет легко и плавно летать, с веселой песнею» [75].

В этом мировоззрении, устранявшем из мира всякий дуализм, — а, следовательно, и всякую возможность протащить в него «боженьку» — и открывавшему безбрежные горизонты человеческому разуму и человеческой активности, Чернышевский нашел подлинную опору своей деятельности. Он знал, что мировоззрение — великое достижение человеческой мысли, плод тысячелетних усилий выбиться из-под гнета религиозных и идеалистических систем, и что оспаривание этих истин всегда продиктовано своекорыстными интересами тех, кто имеет основание опасаться неизбежно вытекающих из этого мировоззрения революционных выводов. В 1876 году, изложив в письме к сыновьям общие основы материалистический философии, Чернышевский добавил: «В оспаривающих эти термины и эти сочетания терминов управляет словами какое-нибудь, не научное, а житейское желание, обыкновенно своекорыстное» [76]. Спор с ними, — продолжал Чернышевский, — «или пустословие, или должен быть перенесен от этих терминов и их сочетаний на анализ реальных мотивов, по которым нападают на эти термины противники их».

Наличие этих «реальных, житейских» — мы сказали бы теперь классовых — мотивов видел Чернышевский во всех тех системах философии, которые ставили пределы человеческому познанию, утверждали непознаваемость «сущности» вещей и тем открывали дверь идеалистической и религиозной реакции. Он писал о модном во второй половине XIX века позитивизме Огюста Конта и его учеников: «Это какой-то запоздалый выродок «Критики чистого разума» Канта. Творение Канта объясняется тогдашними обстоятельствами положения науки в Германии. Это была неизбежная сделка научной мысли с ненаучными условиями жизни. Как быть! Канту нельзя ставить в вину, что он

придумал нелепость: надобно же было хоть как-нибудь преподавать хоть что-нибудь не совершенно гадкое. И он решил: «что ложь, и что истина, этого мы не знаем и не можем знать. Мы знаем только наши отношения к чему-то неизвестному. О неизвестном не буду говорить: оно неизвестно». — Но во Франции, в половине нынешнего века, эта нелепая уступка — нелепость совершенно излишняя. А Огюст Конт преусердно твердит: «неизвестно», «неизвестно», но для мыслителей, которым не хочется искать или высказывать истину, это решение очень удобное. В этом разгадка успеха системы Огюста Конта».

На философском фронте, как и на других фронтах, Чернышевский не допускал никаких уступок. Он исходил из того убеждения, что только до конца продуманная философская система может служить надежной базой практически-революционной деятельности, и был твердо убежден, что только философский материализм способен действительно вооружить революцию. «Не требуется большого остроумия, — писал Маркс, — чтобы усмотреть связь между учением материализма... и коммунизмом и социализмом. Если человек черпает все свои знания, ощущения и проч. из чувственного мира и опыта, получаемого от этого мира, то надо, стало быть, так устроить окружающий мир, чтобы человек познавал в нем истинно-человеческое, чтобы он привыкал в нем воспитывать в себе человеческие свойства. Если правильно понятый интерес составляет принцип всякой морали, то надо, стало быть, стремиться к тому, чтобы частный интерес отдельного человека совпадал с обще-человеческими интересами... Если характер человека создается обстоятельствами, то надо, стало быть, сделать обстоятельства достойными человека» [77].

Чернышевский не только сделал эти выводы из материализма, но был уверен и в том, что все эти общественные выводы делаются обязательными лишь при принятии философии материализма. Он уже знал, что социалист и революционер не может не быть материалистом, если хочет свести концы с концами своей теории и своей практики. История русской революционной мысли доказала всю правоту Чернышевского: каждое попятное движение в революционной среде сопровождалось и философской реакцией против материализма, каждая измена революции немедленно находила себе естественное дополнение в отходе от материализма, в переходе «от материализма к идеализму».

Вот почему Чернышевский неуклонно боролся за материализм, всегда оставался ему верен, не допускал здесь никаких уступок и компромиссов и неустанно и систематически прививал русской революционной мысли философию материализма. Борьба за материализм в русской революции была продолжением дела, которое блестяще делал Чернышевский. Плеханов сказал о нем, что «в философском отношении он был *очень близок* к Энгельсу и Марксу». а Ленин назвал его «великим русским материалистом», который сумел «отбросить жалкий вздор неокантианцев, позитивистов, махистов и прочих путанников», который «смеялся до конца дней своих над уступочками идеализму и мистике, которые делали модные «позитивисты» [78].

Материализм Чернышевского не был диалектическим материализмом. Но этот материализм прошел через школу Гегеля и потому сильно приближался к материализму диалектическому. Чернышевский дал ряд прекрасных применений последнего. Свою статью «Критика философских предубеждений против общинного владения», посвященную защите социализма против буржуазных экономистов, Чернышевский закончил великолепной формулировкой диалектического метода:

«Вечная смена форм, вечное отвержение формы, порожденной известным содержанием или стремлением, вследствие усиления того же стремления, высшего развития того же содержания, — кто понял этот великий, вечный, повсеместный закон, кто приучился применять его ко всякому явлению, — о, как спокойно призывает он шансы, которыми смущаются другие! Он не жалеет ни о чем, отживающем свое время, и говорит: «Пусть будет, что будет, а будет в конце концов все-таки на нашей улице праздник» [79].

Ему, следовательно, было ясно громадное и революционное значение диалектического метода. Но его диалектика в основном была абстрактна, а его материализм не пропитался диалектикой. Он — по слову Ленина — «не сумел, вернее: не мог в силу отсталости русской жизни подняться до диалектического материализма Маркса и Энгельса» [80].

Это сильнее всего сказалось на его исторических воззрениях. Значение и роль классовой борьбы в истории не были для него тайной. Он дал прекрасные образчики классового анализа — в частности, в своих статьях, посвященных европейской истории, и — в особенности — в своих замечательных политических обзорах текущих событий европей-

ской жизни. Но связь форм этой борьбы с развитием производительных сил, диалектический процесс, лежащий в основе современного капиталистического общества, оставались вне его горизонта. Логика и механика того, как капитализм порождает собственного могильщика, не были — и не могли быть — усвоены им. В общих вопросах мировоззрения и истории он принужден был поэтому апеллировать не к конкретному историческому процессу, неизбежно ведущему за собой осуществление его идеалов, а — как и его учитель Фейербах — к некоей абстракции, к созданному им самим отвлеченному представлению о «должном» и «нормальном». В системе Чернышевского, как и в системе Фейербаха, эта «абстракция» фигурирует под именем «разумного эгоизма» или «нормальных потребностей человека». Этим «разумный эгоизм нормального человека» становился высшим критерием истины, добра и красоты.

Но раз так, то представляется чрезвычайно важным уметь выделить в общей сумме человеческих стремлений, желаний, мечтаний эти подлинные, «нормальные», законные стремления, желания, мечты. Весьма характерен для всего мировоззрения Чернышевского тот способ, которым он решает этот вопрос. Вот его слова:

«Если так важно различать мнимые, воображаемые стремления, участь которых оставаться смутными грезами праздной или болезненно раздраженной фантазии, от действительных и законных потребностей человеческой натуры, которые необходимо требуют удовлетворения, то где же признак, по которому безошибочно могли бы мы делать это различие? Кто будет судьею в этом столь важном случае? Приговор дает сам человек своею жизнью; «*практика*», *этот непреложный пробный камень всякой теории* [курсив мой. — *Л. К.*] должна быть руководительницею нашей и здесь... «Дело есть истина мысли»... На деле узнается, справедливо ли человек думает и говорит о себе, что он храбр, благороден, правдив. Жизнь человека решает, какова его натура, она же решает, каковы его стремления и желания... Практика — великая разоблачительница обманов и самообольщений не только в практических делах, но также и в делах чувства и мысли. Потому-то в науке ныне принята она существенным критериумом всех спорных пунктов. «Что подлежит спору в теории, начистоту решается практикою действительной жизни» [61].

Эти слова не более как повторение фейербаховской

философии, но именно тех частей фейербаховской философии, которые целиком вошли в диалектический материализм Маркса и Энгельса. Принцип практики как критерия истинности — завоевание русской мысли, которого она достигла только в лице Чернышевского.

Человеческая практика становится верховным судьей человеческих поступков и человеческой истории. Этим судья, пребывавший до сих пор на небе, низводится на землю. В этом великое освободительное значение принципа Чернышевского, общего ему с Фейербахом и Марксом. Но дальше начинается различие.

Практика — высший критерий действительности и теории. Но — какая практика? Потребности человека и служение им — высший критерий истины. Но — какого человека?

Фейербах и Чернышевский отвечают одинаково: практика нормального человека, потребности нормального человека. Вот тот порог, которого не преодолели ни философия Фейербаха, ни философия Чернышевского. Оба они остановились на *антропологии*, не перейдя в область *социологии*.

Ниже мы еще увидим, какие изъяны причинены этой остановкой на идее о «нормальном» человеке всему мировоззрению Чернышевского. Это была ахиллесова пята его философии, этики и эстетики. Здесь именно и сказалась ограниченность той обстановки, в которой развивалась и работала мысль идеолога русской *крестьянской* революции. Апелляция к разуму и потребностям «нормального человека» подменяет у него апелляцию к диалектическому процессу истории, ибо — по условиям места и времени — он лишен был возможности апеллировать к подлинному могильщику старого и творцу нового мира, к современному промышленному пролетариату. Но — не нужно забывать — это обращение к «разумному эгоизму» имело в свое время подлинно революционный, разрушительный для старого мира смысл.

В 1877 году из вилюйской ссылки Чернышевский писал сыновьям:

«Если вы хотите иметь понятие о том, что такое, по моему мнению, человеческая природа, узнавайте это из единственного мыслителя нашего столетия, у которого были совершенно верные, по-моему, понятия о вещах. Это — Людвиг Фейербах... К тому частному вопросу, о котором говорю я, — к вопросу о мотивах человеческой деятельности, отно-

сится у Фейербаха одно из примечаний к его «Лекциях о религии».

В указанном месте Фейербах говорит именно об «эгоизме».

«Я употребляю его, — писал Фейербах по поводу этого понятия, — в противоположение к теологии или вере в бога... Я понимаю под этим словом не эгоизм человека по отношению к человеку... не тот эгоизм, который является характерной чертой филистера и буржуа и составляет прямую противоположность всякому дерзанию в мышлении и действии, всякому воодушевлению, всякой гениальности и любви. Я понимаю под эгоизмом человека соответствующее его природе, а стало быть, и разуму... его самопризнание, самоутверждение по отношению ко всем неестественным и бесчеловечным требованиям, которые предъявляют к нему теологическое лицемерие, религиозная и спекулятивная фантастика, политическая деспотия... Короче говоря, я понимаю под эгоизмом тот инстинкт самосохранения, в силу которого человек не приносит в жертву себя, своего разума, своего чувства, своего тела... духовным ослам и баранам, политическим волкам и тиграм, философским сверчкам и совам».

Со своей стороны Ленин в своем конспекте Фейербаха, отметив цитированные сейчас слова, написал: «Очень важно»[82].

И действительно, эти слова Фейербаха очень важны для определения общей системы взглядов и его и Чернышевского.

Они прекрасно вскрывают революционность этой системы и *ограниченность* этой революционности. Воззвание к разумному эгоизму «нормального человека», «антропология» были в руках Чернышевского великолепным тараном для разрушения старой идеологии, но «антропология» не могла заменить «социологию». В его «нормальном человеке» не трудно открыть нормального человека его эпохи и той социальной группы, интересы которой представлял Чернышевский. Это — нормальный человек крестьянской среды и связанной с этой средой трудовой интеллигенции. Эта крестьянская среда и этот трудовой интеллигент в эпоху Чернышевского находились в революционном брожении, и именно потому философия, которая пыталась формулировать чаяния и стремления этой среды, была направлена против всяческого дуализма и должна была искать опоры

в материализме и идее развития *. Она ниспровергала бога и царя, гегелевский идеализм и всяческие абсолюты и авторитеты.

Но это была *крестьянская* революционность, и поэтому ее философии свойственны статичность, отвлеченность, аскетическое толкование потребностей человека, отсутствие идеи беспредельно нарастающего усложнения и обогащения жизни и человека. Человек и его потребности в философской системе Чернышевского так же, как и в философии Фейербаха, более или менее неподвижны. Его разделение потребностей человека на естественные и искусственные перерастает незаметно для него в протест против всякого усложнения и обогащения человеческой жизни и природы. В его протесте против искусственных потребностей больше элементов восстания деревни против города, чем восстания пролетариата против буржуазии.

Философия Чернышевского поэтому исторически ограничена. Это — богатый боевой арсенал для крестьянской революции, направленный против всех видов феодализма, но далеко не достаточный для борьбы пролетариата с буржуазией. Для этого он недостаточно емок. Его мировоззрение сжато отношениями аграрной среды с ее двумя полюсами — помещиком и крестьянином, оно движется в кругу их противоположений. Иначе говоря — далеко не достаточная для нашей эпохи — философия Чернышевского — великолепное боевое оружие передовых людей эпохи крестьянской революции.

Существует, однако, великая преемственность завоеваний человеческого мозга. Чернышевский стоял уже на той великой дороге, по которой пошло развитие победоносной человеческой мысли. Он стоял уже вполне на почве знаменитого тезиса: «Философы лишь различным образом *объяснили* мир, но дело заключается в том, чтобы *изменить* его». И — что еще замечательнее — он прямо предсказал одно из важнейших условий этого изменения. В 1860 году Чернышевский писал:

«Нет никакого сомнения, что и простолюдины Западной

---

* Именно революционное брожение в крестьянской среде предохранило философию Чернышевского от сентиментального опрощительства Руссо, христианского непротивленчества Толстого, слезливого крохоборчества и эклектизма позднейших народников. Философия Чернышевского отражала не предрассудки и суеверия крестьянства, не его прошлое, а его разум и его будущее.

Европы ознакомятся с философскими воззрениями, соответствующими их потребностям. Тогда найдутся у них представители не совсем такие, как Прудон: найдутся писатели, мысль которых не будет, как мысль Прудона, спутываться с преданиями или задерживаться устарелыми формами науки в анализе общественного положения и полезных для общества реформ. *Когда придет такая пора, когда представители элементов, стремящихся теперь к пересозданию западно-европейской жизни, будут являться уже непоколебимыми в своих философских воззрениях, это будет признак скорого торжества новых начал и в общественной жизни Западной Европы*» [83]. Это — предсказание того объединения «простолюдинов» и «философии», которое дано теорией и практикой марксизма.

2. ЭСТЕТИКА.

К разработке вопросов эстетики Чернышевский обратился не по какому-либо специальному влечению к этим вопросам. Его работа об «Эстетических отношениях искусства к действительности» — боевое произведение. Он должен был придать своей работе известные академические формы (это ведь была диссертация), но по всему своему строению это — полемическое произведение. Его полемика направлена по внешности против известных эстетических теорий, а именно против эстетической теории левых гегельянцев в лице самого выдающегося эстетика средины XIX века — Ф. Фишера. Но по существу Чернышевский метит дальше и сокрушает больше, чем сказано в словах его трактата. Он сам писал, что ценит в своей работе не решение тех или других проблем искусствоведения, а воспроизведение основных элементов учения Фейербаха, то есть того, что направлено в последнем против религии и идеализма в защиту материализма. Несомненно, что центр тяжести своей работы Чернышевский видел в борьбе против идеалистической философии и связанной с нею системы политических и социальных взглядов, а отнюдь не в решениях вопросов о прекрасном, происхождении эстетических потребностей и т. д.

Вот почему можно смело сказать, что работа Чернышевского являлась для него в гораздо большей степени боевым манифестом материалистической философии, чем эстетическим трактатом. И для нас он поэтому имеет двойной инте-

рес; и как изложение философских воззрений великого русского материалиста и как манифест эстетических взглядов новой культурной силы, пришедшей сломать и сменить дворянскую культуру старой России. С этих двух точек зрения мы и рассмотрим этот важный документ в истории русской мысли.

В чем заключалась сущность того взгляда на искусство, против которого направлена работа Чернышевского? Чернышевский сам указывает на эту сущность, впрочем, не в своей диссертации, а в своем разборе эстетики Аристотеля и Плотина. В этой статье Чернышевский излагает оспариваемую им теорию в следующих словах:

«Идея прекрасного, присущая духу человеческому, не находя себе соответствия и удовлетворения в действительном мире, заставляет человека создавать искусство, в котором находит она себе полное осуществление» [84].

Затем Чернышевский спрашивает: «Кто из мыслителей первый высказал начало такой теории?» И отвечает: «Плотин, один из тех туманных мыслителей, которые называются неоплатониками». Что же проповедывал об искусстве Плотин? Плотин писал:

«Против презирающих искусство на том основании, что оно в своих произведениях подражает природе, можно возразить прежде всего, что создания самой природы суть подражания, затем, что искусство не удовлетворяется простым подражанием явлению, но возвышает его к идеалам, из которых происходит природа, и, наконец, что оно многое присоединяет от себя, ибо, так как оно само владеет красотою, оно восполняет недостатки природы».

Эта формула Плотина включает в себе представление о сущности искусства и Канта и Гегеля. Кант учил, что, получая материал от природы, воображение художника «перерабатывает его для чего-то совершенно другого, что стоит уже выше природы». А Гегель полагает, что красота «принадлежит к области духа, но не сопряжена ни с опытом, ни с деяниями конечного духа. Царство изящных искусств, это — царство Абсолютного духа». Религиозное истолкование идеи прекрасного и произведений искусства, высказанное уже Плотином, служит таким образом краеугольным камнем немецкой идеалистической философии. В этой области следует сказать о гегелевской философии то, что сказал о ней Фейербах в сочинении, которое Чернышевский — как он писал впоследствии — знал почти на-

изусть: «Гегелевская философия есть последнее прибежище и рациональный оплот теологии» [85].

В своем эстетическом трактате Чернышевский и поставил себе задачей разрушить религиозные представления об искусстве в их самом рациональном и наиболее логически укрепленном оплоте — в системе Гегеля и его левых учеников. Это разоблачение религиозных корней господствующей системы эстетики в их последнем убежище несомненно вызывалось потребностями практической борьбы, и в этом смысле Тургенев был прав, когда писал об эстетическом трактате Чернышевского: «Это хуже, чем дурная книга, это дурной поступок».

Действительно, диссертация Чернышевского была поступком, поступком революционным. В своем трактате Чернышевский шаг за шагом прослеживает пережитки религиозных, метафизических представлений в области искусства и преследует идеалистическую точку зрения по пятам, не давая ей скрыться ни в одном закоулке обширной области науки об искусстве.

«Идея прекрасного, не осуществляемая действительностью, осуществляется произведениями искусства», — так излагает эту точку зрения Чернышевский. Но эта формула есть только повторение той формулы, которой освящалось в идеалистической философии существование бога. Бедная смыслом, содержанием и радостями жизнь на земле дополняется небом, населенным всеми продуктами человеческой фантазии, подгоняемой кнутом земной скудности. Продукты этой фантазии объявляются высшими, абсолютными критериями человеческой деятельности вообще, его художественной деятельности в частности. Последняя сама объявляется продуктом потребности человека приблизиться к богу и успокоиться в нем. Чтобы доказать необходимость и возможность революционного отношения к действительности, необходимо было убить эту теорию.

И Чернышевский напал на нее со всей решимостью. Прекрасное, добро, красота, истина существуют не в откровениях «внемирного» духа, а в самом реальном мире, в действительности, ими нужно только *овладеть*, — вот смысл философии, этики и эстетики Чернышевского. Он отвергает поэтому предпосылку о том, что искусство рождается из потребности человека заместить действительность произведениями искусства, якобы воплощающими «абсолютное», противопоставляя этой потребности подлинное стремление

человека к реальным земным благам, его потребность к изменению данной ему действительности.

В искусстве и его произведениях нет ничего, чего не было бы в действительности (в природе и человеке), — утверждает Чернышевский, — оно есть лишь воспроизведение действительности, бледная и бедная копия с нее. В защите действительности от попыток попов и идеалистов унизить ее Чернышевский возвышается до такого же пафоса, которым проникнуты соответствующие страницы Фейербаха и освобождающую силу которых имели в виду Энгельс и Маркс в своей высокой оценке роли фейербаховской философии.

«Явления действительности, — пишет Чернышевский, — золотой слиток без клейма: очень многие откажутся уже поэтому одному взять его, не умея отличить от куска меди: произведение искусства — банковый билет, в котором очень мало внутренней ценности, но за условную ценность которого ручается все общество, которым поэтому дорожит всякий и относительно которого немногие даже сознают ясно, что вся его ценность заимствована только от того, что он представитель золотого куска».

«Действительная жизнь, — пишет Чернышевский, — часто бывает слишком драматична для драмы, слишком поэтична для поэзии». «Поэзия стремится, но не может никогда достичь того, что всегда встречается в типичных лицах действительной жизни, — ясно, что образы поэзии слабы, неполны, неопределенны в сравнении с соответствующими им образами действительности». «Поэт в отношении к своим лицам почти всегда только историк или автор мемуаров». «Всегда и само собою» в природе, «очень редко и с величайшим напряжением сил» в искусстве — вот факт, почти во всех отношениях характеризующий природу и искусство. «Топорная работа» — вот настоящее имя всех пластических искусств, как скоро сравним их с природою. «Сила искусства — сила комментария» [86].

Все эти формулы, конечно, формулы полемические, формулы борьбы за действительность и за освобождение искусства от служения мистическим целям — против своекорыстного пренебрежения действительностью и служащим ему искусством со стороны религиозной и метафизической мысли. Это была оборона действительности и искусства, служащего человеку, а не «абсолютному духу», против религиозной и метафизической клеветы на них.

Но автор идет дальше.

О своем тезисе: «искусство есть воспроизведение явлений природы и жизни» Чернышевский говорит, что им «определяется только способ, каким создаются произведения искусства».

«Определив формальное начало искусства, — продолжает Чернышевский, — нужно для полноты понятия определить и реальное начало или содержание искусства. Обыкновенно говорят, что содержанием искусства служит только прекрасное и его соподчиненные понятия — возвышенное и комическое». Автор находит такое определение слишком узким, восстает против него и утверждает, что область искусства — все интересное для человека в жизни и природе. Все существующее может стать предметом искусства; нет ничего в действительности, что не могло бы войти в его сферу, что было бы недостойно этой сферы.

Это показалось святотатственным покушением на каноны идеалистической эстетики. Идеалист и подчиняющийся ему обыватель должны были воспринять оба эти тезиса Чернышевского как покушение на достоинство искусства, как его уничижение.

На деле, конечно, это было освобождение искусства от тех цепей, которые надевали на него религия и очищенная религия — идеализм. Своим определением Чернышевский провозглашал необходимость для искусства выйти за пределы предписанных ему «высоких» тем, расширить свои границы, открыть их для новых тем, новых ситуаций, новых чувств. Своим определением Чернышевский предугадал тот реальный путь, которым должно было пойти и действительно пошло искусство ближайших десятилетий, по крайней мере, в своем основном, определяющем течении. «Большое» искусство XIX века — от Бетховена и до Толстого, от Байрона и до Горького — целиком укладывается в определение Чернышевского. А это доказывает, что то, что Чернышевский считал для искусства «*должным*», было заложено в реальных исторических условиях развития искусства. Таким образом «нормативная» эстетика Чернышевского приобретает на деле черты подлинной «науки об искусстве», задача которой в том, чтобы объяснить реальный процесс развития искусства.

Каков же смысл искусства, освобожденного от служения трансцендентальным целям, то есть понимаемого как одно из орудий человеческой деятельности, а не как обнаруже-

ние божественной воли или как одно из превращений гегелевского абсолютного духа?

Чернышевский отвечает на этот вопрос так:

«Если очень многие произведения искусства имеют только один смысл — воспроизведение интересных для человека явлений жизни, то очень многие приобретают кроме этого основного значения другое, *высшее* — служить *объяснением воспроизводимых явлений*. Наконец, если художник — человек мыслящий, то он не может не иметь своего суждения о воспроизводимых явлениях — *оно волею или неволею, явно или тайно, сознательно или бессознательно отразится на произведении, которое таким образом получает еще третье значение — приговора мысли о воспроизводимых явлениях*... Ограничиваясь воспроизведением явлений жизни, художник удовлетворяет нашему любопытству или дает пособие нашим воспоминаниям о жизни. Но если он притом объясняет и судит воспроизводимые явления, он становится мыслителем, и его произведение к художественному своему достоинству присоединяет еще высшее значение — значение научное» [87].

В этой формуле ключ к эстетике Чернышевского, она вскрывает сущность его требований к искусству. Приведем поэтому и другую формулировку тех же положений у Чернышевского:

«Существенное значение искусства — воспроизведение того, чем интересуется человек в действительности. Но интересуясь явлениями жизни, человек не может, сознательно или бессознательно, не произносить о них своего приговора. Если человек, в котором умственная деятельность сильно возбуждена вопросами, порождаемыми наблюдением жизни, одарен художническим талантом, то в его произведениях, сознательно или бессознательно, выразится стремление произнести живой приговор о явлениях, интересующих его, в его картинах или романах, поэмах, драмах будут предложены или разрешены вопросы, возникающие из жизни для мыслящего человека; его произведения будут, чтобы так выразиться, сочинениями на темы, предлагаемые жизнью... Наука и искусство — Handbuch для начинающего изучать жизнь... Наука не думает скрывать этого; не думают скрывать этого и поэты в беглых замечаниях о сущности своих произведений; одна эстетика продолжает утверждать, что искусство выше жизни и действительности... Высшее назначение искусства — быть учебником жизни» [88].

Таким образом, Чернышевский располагает художественные произведения по ступеням определенной лестницы. На низшей ступени находятся произведения, ограничивающиеся «воспроизведениями жизни». Надо заметить при этом, что Чернышевский решительно протестует против смешения «воспроизведения» жизни с подражанием ей, с ее «мертвой копировкой». Воспроизведение отличается от копировки отбором существенного и важного и свободной группировкой необходимых художнику материалов, почерпнутых из действительности. Уже в этом отборе и группировке сказывается та черта художественного произведения, которая, по Чернышевскому, возводит его на *высшую* ступень «объяснения воспроизводимых явлений». Самая же высокая ступень требует слияния в авторе художественного произведения художника, способного воспроизвести жизнь, и мыслителя. Только при этом условии художественное произведение способно выполнить высшую задачу, поставленную ему Чернышевским, — произнести «приговор» над жизнью. Совершенно ясно, что этот приговор может касаться и общих проблем человеческой жизни (общее назначение человека, любовь, смерть и т. д.), и ее частных явлений (оценка тех или других классов и групп общества, распространенных представлений, чувств и т. д.). Нельзя поэтому признать правильными соображения тех критиков Чернышевского, которые указывают на то, что его определение — «прекрасное есть жизнь» — слишком обще и, пожалуй, столь же метафизично, как и критикуемое им идеалистическое определение [89]. Это было бы верно, если бы Чернышевский остановился на этом определении. Но оно послужило для него только исходным пунктом. В его системе это определение играет лишь роль реабилитации или, как он сам выражался, «апологии действительности». Он не останавливается на нем, а идет дальше, определяя высшие формы искусства как *приговор над жизнью, произносимый при помощи образного воспроизведения ее.* Словом и понятием «приговор» эстетическая система Чернышевского смыкается с общим его мировоззрением; оно придает эстетической системе Чернышевского активность и динамичность; оно показывает, что оценка и изменение действительности — таковы те цели, которые ставит Чернышевский перед искусством. Он не забывает одновременно, что эта оценка и этот приговор производится в сфере искусства своеобразными

методами, не методами силлогизма, а методами художественного воспроизведения жизни.

Если обратиться от этих общих теоретических формул Чернышевского к его личным художественным вкусам, проявившимся в его литературно-критической работе, то придется констатировать, что Чернышевский лично высоко ценил те художественные произведения, в которых для воспроизведения жизни была найдена увлекательная художественная форма. Но, конечно, выше простого художественного воспроизведения жизни он оценивал те произведения искусства, в которых художественная форма воспроизведения жизни сочеталась с правильной оценкой воспроизводимых явлений, подводящей читателя к точному и обоснованному приговору над жизненными явлениями. И надо прямо сказать, что выше всего ставил Чернышевский те художественные произведения, которые способны были подготовить читателя к тому приговору над жизненными явлениями, который воспитывал бы в читателе революционные чувства и революционную мысль.

До сих пор при изложении системы эстетических взглядов Чернышевского нам почти не пришлось упоминать терминов «прекрасное» и т. п. Это не случайно. Характерной чертой эстетики Чернышевского является то, что она может быть целиком построена, не прибегая к этим понятиям. Это не значит однако, что Чернышевский не уделяет прекрасному и красоте никакого внимания. Наоборот, в его трактате этим понятиям и их анализу посвящены многие страницы, и надо признать, что эти страницы принадлежат к наиболее убедительным и красноречивым страницам его учения. Прежде всего Чернышевский вскрывает смешение понятий, вкладываемых в термины «прекрасное» и «красота» идеалистической философии. Отвергнув определение прекрасного как воплощения божественного в конечных образах (а это лежит в основе всей религиозно-эстетической системы от Платона до Гегеля), Чернышевский опровергает и тот вариант определения прекрасного, который сводится к формуле: «прекрасное есть единство идеи и образа».

«Если под прекрасным понимать то, что понимается в этом определении — полное согласие идеи и формы, то из стремлений к прекрасному надобно выводить не искусство в частности, а вообще всю деятельность человека, основное начало которой — полное осуществление известной мысли;

стремление к единству идеи и образа — формальное начало всякой техники, всякого труда, направленного к созданию и усовершенствованию всяческих надобных нам предметов» [90].

В другом месте Чернышевский выражает эту же мысль в другой форме:

«Произведение искусства стремится к гармонии идеи с образом ни больше, ни меньше как произведение сапожного мастерства, ювелирного ремесла, каллиграфии, инженерного искусства, нравственной решимости. «Всякое дело должно быть хорошо выполнено»—вот смысл фразы: «Гармония идеи и образа» [91].

Идеалистическая эстетика, с которой воевал Чернышевский, сводилась к положению: прекрасно лишь абсолютное, прекрасным может быть также воплощение абсолютного в конечном объекте, если в последнем соблюдено единство идеи и образа. Чернышевский отвергает оба эти положения: абсолютное не прекрасно, а совпадение формы с содержанием характерно не для определения искусства, а для всей человеческой деятельности.

Но в таком случае, где же область прекрасного? Чернышевский отвечает: «Прекрасное есть жизнь». Прекрасное существует только в действительности. Красота дается не воплощением в конечном идеи божества, — она дана в объективной природе и жизни. Красота — свойство действительности. У Фейербаха в его «Лекциях о сущности религии» это выражено так: «Я не отрицаю.... мудрость, добро, красоту, я отрицаю только, что они в качестве этих родовых понятий являются существами, в виде ли богов или свойства бога, или платоновских идей, или самополагающихся гегелевских понятий». Приведя эти слова в своем конспекте, Ленин отметил: «Материализм против теологии и идеализма (в теории)» [92].

Прекрасное сводится, таким образом, с неба, из области платоновских идей и гегелевских понятий в область объективного. Красота — объективно данное для Чернышевского. Человек, следовательно, не создает ее, а лишь открывает ее для себя в природе и жизни. В авторецензии на свою диссертацию Чернышевский, говоря о себе в третьем лице, поясняет эту свою мысль:

«Из господствующих определений, отвергаемых г. Чернышевским, следует, что прекрасное и возвышенное в строгом смысле не встречаются в действительности и вносятся

в нее только нашею фантазиею; из понятий, предлагаемых г. Чернышевским, следует, напротив, что прекрасное и возвышенное действительно существуют в природе и человеческой жизни. Но с тем вместе следует, что наслаждение теми или другими предметами, имеющими в себе эти качества, непосредственно зависит от понятий наслаждающегося человека, прекрасно то, в чем мы видим жизнь, сообразную *с нашими* понятиями о жизни, возвышенно то, что гораздо больше предметов, с которыми сравниваем его мы.

Таким образом, объективное существование прекрасного и возвышенного в действительности примиряется с субъективными воззрениями человека».

Это — подлинный переворот во взглядах на прекрасное, установленных идеалистических философий. Чернышевский здесь подходит к тому, чтобы сделать с идеалистической эстетикой Гегеля то самое, что проделал со всей системой Гегеля Маркс. Он ставит на ноги то, что было у Гегеля повернуто на голову.

Чернышевский не только сводит красоту в действительность, но и утверждает тезис об относительности красоты, о том, что красота не всегда и не для всех людей одинакова. Подтверждением этого тезиса служит у Чернышевского знаменитый разбор того, что считается красотою в женщине в различных классах общества. Приступая к нему, Чернышевский еще раз повторяет: «Прекрасное есть жизнь, прекрасное — то существо, в котором видим мы жизнь такою, какова должна быть она по нашим понятиям». Вот это знаменитое рассуждение Чернышевского:

«Хорошая жизнь», «жизнь, как она должна быть», у простого народа состоит в том, чтобы сытно есть, жить в хорошей избе, спать вдоволь; но вместе с этим у поселянина в понятии «жизнь» всегда заключается понятие о работе: жить без работы нельзя; да и скучно было бы. Следствием жизни в довольстве при большей работе, не доходящей, однако, до изнурения сил, у молодого поселянина или сельской девушки будет чрезвычайно свежий цвет лица и румянец во всю щеку — первое условие красоты по простонародным понятиям. Работая много, поэтому будучи крепка сложением, сельская девушка при сытной пище будет довольна плотна — это также необходимое условие красавицы сельской; светская «полувоздушная» красавица кажется поселянину решительно «невзрачною», даже произ-

водит на него неприятное впечатление; потому что он привык считать «худобу» следствием болезненности или «горькой доли». Но работа не даст разжиреть, если сельская девушка толста, это — род болезненности, знак «рыхлого» сложения, и народ считает большую полноту недостатком. У сельской красавицы не может быть маленьких ручек и ножек, потому что она много работает, — об этих принадлежностях красоты и не упоминается в наших песнях. Одним словом, в описаниях красавицы в народных песнях не найдется ни одного признака красоты, который не был бы выражением цветущего здоровья и равновесия сил в организме, всегдашнего следствия жизни в довольстве при постоянной и не шуточной, но не чрезмерной работе. Совершенно другое дело светская красавица; уже несколько поколений предки ее жили, не работая руками; при бездейственном образе жизни, крови льется в оконечности мало; с каждым новым поколением мускулы рук и ног слабеют, кости делаются тоньше; необходимым следствием всего этого должны быть маленькие ручки и ножки; они — признак такой жизни, которая одна и кажется жизнью для высших классов общества, жизни без физической работы; если у светской женщины большие руки и ноги, это признак или того, что она дурно сложена, или того, что она не из старинной хорошей фамилии. По этому же самому у светской красавицы должны быть маленькие ушки. Мигрень, как известно, — интересная болезнь, и не без причины: от бездействия кровь остается вся в средних органах, приливает к мозгу; нервная система и без того уже раздражительна от всеобщего ослабления в организме; неизбежное следствие всего этого — продолжительные головные боли и разного рода нервические расстройства: что делать, и болезнь интересна, чуть не завидна, когда она следствие образа жизни, который нам нравится. Здоровье, правда, никогда не может потерять своей цены в глазах человека потому что и в довольстве и роскоши, плохо жить без здоровья; вследствие того румянец на щеках и цветущая здоровьем свежесть продолжают быть привлекательными и для светских людей; но болезненность, слабость, вялость, томность также имеют в глазах их достоинство красоты, как скоро кажутся следствием роскошно-бездейственного образа жизни. Бледность, томность, болезненность имеют еще другое значение для светских людей; если поселянин ищет отдыха, спокойствия, то люди образованного общества, у которых материальной

нужды и физической усталости не бывает, но которым зато часто бывает скучно от безделья и отсутствия материальных забот, ищут «сильных ощущений, волнения страстей», которыми придается цвет, разнообразие, увлекательность светской жизни, без того монотонной и бесцветной. А от сильных ощущений, от пылких страстей человек скоро изнашивается: как же не очароваться томностью, бледностью красавицы, если они служат признаком, что она «много жила»?

Мила живая свежесть цвета,
Знак южных дней;
Но бледный цвет, тоски примета,
Еще милей.

Но если увлечение бледною, болезненною красотою — признак искусственной испорченности вкуса, то всякий истинно образованный человек чувствует, что истинная жизнь — жизнь ума и сердца. Она отпечатлевается в выражении лица, всего яснее в глазах, потому выражение лица, о котором так мало говорится в народных песнях, получает огромное значение в понятиях о красоте, господствующих между образованными людьми; и часто бывает, что человек кажется нам прекрасным только потому, что у него прекрасные, выразительные глаза» [93].

Так из самой действительности почерпает человек свои понятия о красоте, и они столь же разнородны, как разнородна действительность.

«Действительность, нас окружающая, не есть нечто однородное и однохарактерное по отношению своих бесчисленных явлений к потребностям человека», — писал Чернышевский.

«Природа, — говорит он, — не знает о человеке и его делах, о его счастии; она бесстрастна к человеку, она не друг и не враг ему»; но «существеннейшее человеческое право и качество» заключается в том, «чтобы *смотреть на объективную действительность только как на поле своей деятельности*» [94].

«Природа не всегда соответствует его потребностям; потому человек для спокойствия и счастия своей жизни должен во многом изменить объективную действительность, чтобы приспособить ее к потребностям своей практической жизни. Действительно, в числе явлений, которыми окружен человек, очень много таких, которые неприятны или вредны ему; отчасти инстинкт, еще более наука (знание,

размышление, опытность) дают ему средства понять, какие явления действительности хороши и благоприятны для него, потому должны быть поддерживаемы и развиваемы его содействием, какие явления действительности, напротив, тяжелы и вредны для него, потому должны быть уничтожены или, по крайней мере, ослаблены для счастия человеческой жизни; наука же дает ему и средства для исполнения этой цели».

Таковы отношения между действительностью и человеком в системе Чернышевского. Продолжим начатую выписку для того, чтобы узнать, какую же роль в этих отношениях может играть искусство. Мы видели только что: «знание, размышление, опытность», то есть наука, по выражению автора, дают человеку средства для изменения действительности.

«Чрезвычайно могущественное пособие в этом оказывает науке искусство, — продолжает Чернышевский, — необыкновенно способное распространить в огромной массе людей понятия, добытые наукою, потому что знакомиться с произведениями искусства гораздо легче и привлекательнее для человека, нежели с формулами и суровым анализом науки. В этом отношении значение искусства для человеческой жизни неизмеримо огромно» [95].

Таково заключительное слово эстетики Чернышевского. Выдвинутая потребностью практической борьбы, она завершается характеристикой искусства как одного из орудий изменения мира, приведения его в соответствие с потребностями практической жизни человека. Материалистическая по своим исходным пунктам, направленная своим боевым острием против религиозного или идеалистического отрешения от потребностей конкретного человека, она завершается оценкой искусства и творчества как одного из важнейших, своеобразного, но мощного орудия преобразования действительности.

Взгляды Чернышевского должны были показаться кощунством всем тем, кто видел в искусстве «обнаружение абсолюта», для кого искусство было проявлением «божественной воли» или «божественной игры», то есть сферы, в которой проявлялось и создавалось нечто высшее, чем силы, действующие в реальной жизни. А это было не только взглядом учителей эстетики. Это была, можно сказать, *профессиональная философия* подавляющего большинства людей, прикосновенных к художественному творчеству. Неза-

висимо от того, давали ли они себе труд продумать и отчетливо сформулировать эту философию искусства, именно она служила обоснованием их труда и направляла его приемы. Смелые, резкие формулы Чернышевского, низводившие искусство на землю, подчинявшие его законам реальной жизни, сдергивавшие с него мистический флер служения «высшим», внеприродным целям, должны были подействовать на профессиональных служителей искусства, как ушат холодной воды на разнеженного искусственной теплотой человека. Они послужили немедленно мишенью нападок, в которых объединились не только реакционеры, но и виднейшие представители прогрессивных течений тогдашней литературы и искусствоведения. Тургенев писал: «Книгу Чернышевского, эту гнусную мертвечину, порождение злобной тупости и слепоты не так следовало бы разобрать... Подобное направление гибельно»... Вся дворянская журналистика поддержала его.

Но эта борьба против эстетической теории Чернышевского была только частичным отражением или, вернее, приложением к частной сфере общего похода либерально-дворянской идеологии против материалистического мировоззрения пробуждавшейся к политической жизни революционной крестьянской демократии, ярким проявлением которого и был философско-эстетический трактат Чернышевского.

Реальной базой этого революционного мировоззрения было, однако, крестьянство. Эта база наложила свой отпечаток на все идеологические построения Чернышевского; отсюда и все изъяны эстетических взглядов Чернышевского. Критическое содержание эстетики Чернышевского, поскольку оно направлено против религиозно-идеалистических представлений о нем, неопровержимо; идеалистической философии и связанной с ней эстетике Чернышевский наносит непоправимые удары. Не менее сильно и то, что выдвигает Чернышевский в своей борьбе с идеалистической философией как *основу* новой эстетики. Сюда относятся прежде всего ее общий материалистический базис — тезис о том, что в искусстве нет ничего метафизического, ничего «не от мира сего». Далее, — что область искусства ничем не ограничена и объемлет «все интересное для человека в природе и жизни»; далее: тезис о том, что «искусство воспроизводит жизнь», что оно вольно или невольно произносит приговор над жизнью и что этот приговор, а следователь-

но, и соответственное художественное произведение искусства тем выше, чем больше в лице автора сливаются художник и мыслитель. Наконец, сюда же относится оценка искусства как одного из орудий изменения действительности.

Создал ли, однако, Чернышевский систему постоянных критериев для оценки произведений искусства? По форме как будто — да. Чернышевский критикует статическую систему оценок, данную идеализмом; поэтому и его опровержение принимает также, по крайней мере по форме, статический характер, который часто вводил в заблуждение критиков Чернышевского, приписывавших ему попытку создать навсегда данную систему эстетических оценок.

Но действительно ли было чуждо Чернышевскому сознание относительности и историчности системы оценок? Отнюдь нет! Его работы, посвященные вопросам и произведениям искусства, переполнены ссылками на эволюцию оценок и на правомерность этой эволюции.

То, что нас не может удовлетворить в эстетике Чернышевского, относится не к основным положениям эстетики Чернышевского, а именно к *неразвитости* его понятий о той эволюции человеческого общества, которая обусловливает и эволюцию искусства, и эволюцию эстетических критериев. Именно здесь слабая сторона Чернышевского, как и всей системы взглядов Фейербаха, из которых он исходил.

Никак нельзя отрицать правомерности попыток Чернышевского установить некоторые общие и устойчивые нормы для понятия «прекрасного». Этим он пытался ответить на вопрос, правомерность которого отнюдь не исключается диалектическим материализмом. Маркс писал в 1857 году, через два года после опубликования трактата Чернышевского:

«Трудность заключается не в том, чтобы понять, что греческое искусство и эпос связаны с известными общественными формами развития. Трудность состоит в понимании того, что они еще продолжают доставлять нам художественное наслаждение и в известном смысле сохраняют значение нормы и недосягаемого образца» [96].

Чернышевский пытается разрешить тот же вопрос ссылкой на — «нормального человека», на «нормальные человеческие потребности». И на этом останавливается. Он, таким образом, повторяет ошибку Фейербаха; он кончает антропологией — «действительным человеком на основе природы», не пытаясь систематически исследовать искусство,

его происхождение и его эволюцию как специфический продукт *социальной жизни людей*. И здесь мы должны повторить то, что сказали о философии Чернышевского вообще. Его «натурализм» или «антропологизм» явно недостаточен. Он недостаточно емок. Его учение об искусстве сжато отношениями аграрной среды с ее двумя полюсами — помещиком и крестьянами. Оно движется в кругу их противоположений. Вне сферы его опыта остается эпоха развивающейся промышленности с ее бешеными темпами, острой напряженностью всех противоречий и борьбы. Для этой эпохи эстетика фейербаховского материализма явно недостаточна, — для нее нужна эстетика, основанная на диалектическом материализме. Но эстетика диалектического материализма в ее последовательном развитии была так же недоступна Чернышевскому, как недоступна была его опыту жизнь города развитой капиталистической эпохи и классовая борьба пролетариата, формируемого современной промышленностью. Его «нормальный человек» протестует не только против философии, эстетики и морали господствующих классов, но и против идеи роста производительных сил и обусловленного им роста и усложнений человеческих потребностей. В его понятии прекрасного слишком много воспоминаний о крестьянском труде и обусловленной этим трудом психологии; слишком мало современного города и труда индустриального рабочего. Поэтому на эстетике Чернышевского лежит налет умеренности и ограниченности, в ней отсутствуют чувство темпа и напряженность, в которой вырабатываются психология и эстетика современного мира труда. Пролетарская эстетика найдет красоту там, где ее не видел Чернышевский, и признает законными и нормальными потребности, которые Чернышевский готов был отнести к области искусственных и фантастических.

Однако подлинная оценка Чернышевского с точки зрения диалектического материализма не может быть дана простым, механическим сопоставлением его взглядов со взглядами идеологов современного пролетариата. Оценка эта сама должна быть конкретной исторической оценкой. А с этой точки зрения мы должны будем признать в эстетике Чернышевского высшее достижение материалистической эстетики, поскольку последняя могла быть дана в конкретных условиях пробуждения революционных стремлений в крестьянских массах. Мы не знаем никакого другого произведения в области эстетики, в котором взгляды домарксов-

ского материализма были бы изложены с большей убедительностью и с большим революционным пылом, чем в работе Чернышевского. Она поэтому разделяет судьбу величайших достижений человеческой мысли, которые не откидываются марксизмом, а входят в него как необходимая отправная точка. Как философия Маркса была бы невозможна без фейербаховской философии религии, так построение новой эстетики пролетариата невозможно без усвоения некоторых основных эстетических положений Чернышевского.

Надо в заключение сказать, что неопровержимость некоторых эстетических положений Чернышевского настолько ясна, что отрицание их стало невозможным даже для людей совершенно чуждых Чернышевскому по своему общему мировоззрению. Если при самом появлении его труда по эстетике последний был взят в штыки именно потому, что в нем правильно увидели не только систему эстетики, но и манифест революционера и социалиста, то потребовалось не очень много времени и некоторого изменения общественной обстановки для того, чтобы некоторые, по крайней мере, положения Чернышевского были признаны как неоспоримые завоевания человеческой мысли.

Мы говорим здесь отнюдь не о марксистах, которым естественно и неизбежно в области эстетики примкнуть к ряду положений Чернышевского, но, например, о столь враждебном по всему своему мировоззрению Чернышевскому философе-идеалисте, как Владимир Соловьев. В 1894 году он оценил трактат Чернышевского как «первый шаг к истинной положительной эстетике».

«Главное содержание трактата Чернышевского, — писал Соловьев, — сводится к двум положениям: 1) существующее искусство есть лишь слабый суррогат действительности и 2) красота в природе имеет объективную реальность, — *эти* тезисы *останутся*.... Только на основании этих истин (объективность красоты и недостаточность искусства), никак не через возвращение к артистическому дилетантизму, возможна будет дальнейшая плодотворная работа в области эстетики, которая должна связать художественное творчество с высшими целями человеческой жизни» [97].

У философа-идеалиста Соловьева были свои основания пытаться примкнуть к Чернышевскому, и не может быть никакого сомнения в том, что его понимание «высших целей человеческой жизни» было прямо противоположно по-

ниманию Чернышевского. Но признания его характерны. Не менее характерно и то, что обширнейший из существующих на русском языке кладезей умеренной либеральной мысли, словарь Брокгауза не поколебался в следующих словах оценить эстетику Чернышевского:

«Если мы попробуем формулировать все приобретения искусства в XIX веке, мы не найдем более ясного и полного определения, как те два основных вывода, к которым пришел молодой Чернышевский в своих «Отношениях искусства к действительности». С одной стороны, содержание искусства не исчерпывается красотою и ее так называемыми моментами, а охватывает все интересное в жизни; с другой стороны, красота искусства в эстетическом отношении ниже красоты действительности... Замечательно то, что в середине 50-х годов была найдена молодым критиком формула эстетического учения, которому предстояло расти и крепнуть целое полстолетие. Заслуга Чернышевского заключается именно в том, что он решился противопоставить эстетику, создаваемую современным ему направлением искусства (тогда даже чуть намечавшимся), школьной эстетике, рассуждавшей отвлеченно... В свое время небольшая книжка Чернышевского, вызвавшая со всех сторон горячие возражения, не могла быть понята во всем ее значении... Книжка Чернышевского прошла почти незаметно, как бы одиноко и преждевременно упала на неблагодарную почву русского художественного самосознания» [98].

Мы видим, что в этой статье теория Чернышевского объявляется формулой, объемлющей все приобретения искусства XIX века, освещающей правильным светом художественное творчество цивилизованного человечества за целое полстолетие.

Чем же можно это объяснить? — Не только гениальными способностями Чернышевского, но и тем, что в своей эстетической теории он следовал по тому самому пути, по которому шел от Гегеля через Фейербаха к созданию своей системы Маркс; а также и тем, что в учении Чернышевского нашли свое отражение грандиозные потенциальные силы, таившиеся уже в первых проблесках аграрной революции в России.

Эстетика Чернышевского — порождение революционного кризиса, нашедшего свое достойное выражение в беспощадной последовательности революционной мысли Чернышевского. Потому-то она и оказалась способной предвосхи-

тить реальное движение художественного творчества цивилизованного человечества на полстолетие вперед.

3. ЛИТЕРАТУРА

Основная задача Чернышевского в области литературной критики не могла отличаться от его общей политической задачи. Она заключалась в том, чтобы выделить, организовать и теоретически укрепить те элементы художественного творчества современной ему литературы, которые соответствовали бы его общей революционно-демократической программе. Литература дворянско-помещичьей усадьбы, даже в тех ее течениях, которые переходили на рельсы буржуазии, явно не могла удовлетворить тем задачам, которые ставил перед литературой Чернышевский. По своим общественным корням, по своим общефилософским предпосылкам, по усвоенным ею формальным навыкам вся эта литература находилась в глубоком противоречии с теми требованиями, которые предъявляла к ней новая расстановка классовых сил в стране. В целом оценка Чернышевским современной ему литературы представляет собою глубокую *переоценку* ее с точки зрения нового класса, враждебного той общественной среде, которая создала, — и в эпоху Чернышевского еще создавала — художественные ценности. Конечно, Чернышевский был достаточно крупен и достаточно умен для того, чтобы при этой переоценке не забывать исторической точки зрения. В этом сказалась школа Гегеля. При всем боевом тоне и боевых задачах критики Чернышевского историзм характерен для всех его литературных высказываний. О ком бы ни писал он — о Лессинге, Шиллере, Гете или Боккачио, Державине, Пушкине, Гоголе или Тургеневе, — он судит их не с точки зрения какого-либо абсолютного критерия, а старается вскрыть ту историческую функцию, которую выполняло их творчество, и произносит над ними приговор не с точки зрения какого-либо эстетического канона, а с точки зрения выполнения тех задач, которые стояли или еще стоят перед создавшим их обществом. С этой же точки зрения решает Чернышевский и вопрос о «наследстве», — вопрос, который он, не употребляя этого термина и не называя самой проблемы, фактически обсуждает в ряде своих статей. Он ценил «традицию». Подкрепления того нового стиля литературы, к которому стремился Чернышевский, он искал (и находил) и у

Шекспира и Лессинга, и у Гете и Шиллера, и у Жорж Занд и Диккенса. В новый, намечаемый им путь он брал их с собой. Конечно, не полностью! В наличном «наследстве» Чернышевский производил о т б о р. Он брал с собой лишь половину Шиллера и одну десятую Гете, лишь часть Диккенса и отвергал полностью Гюго [99].

Что касается русской литературы, то здесь для критики Чернышевского дело с «наследством» обстояло много сложнее. Чернышевский должен был считаться и считался с общим «младенческим» состоянием культуры в России и тем противоречием, в которое благодаря этому попадала русская литература, выполнявшая в этих условиях, несмотря на бедность своего содержания и слабость своей мысли, громадную просветительную роль.

Прослеживанию той традиции в истории русской литературы, к которой могла бы примкнуть революционно-демократическая мысль, посвящена одна из самых значительных работ Чернышевского — «Очерки русской литературы гоголевского периода», которая представляет на деле историю развития русской общественной мысли от 20-х до 50-х годов и остается до сих пор одним из самых ценных исследований в этой области. Эта работа Чернышевского показывает, что опору своей литературно-критической деятельности в прошлом он видел только в литературе 1842—1848 годов, то есть в той литературе, которая создана была в период от разрыва Белинского с консервативным истолкованием Гегеля до «Письма Белинского к Гоголю». Подлинная традиция, к которой хотел примкнуть Чернышевский в начале своей деятельности, лежала в могиле с Белинским, была заключена в Алексеевский равелин с Бакуниным и скиталась в эмиграции с Герценом. Приступая на страницах легального журнала к восстановлению этой революционной традиции, Чернышевский в форме диалога с воображаемым читателем оправдывал эту свою апелляцию к прошлому.

«Читатели, — говорил здесь Чернышевский, — могут сказать: вы хотите движения вперед, — откуда же полагаете вы почерпнуть силы для этого движения? Не в настоящем, не в живом, а в прошедшем, в мертвом... Только сила отрицания от всего прошедшего есть сила, создающая нечто новое, лучшее».

«Читатели отчасти будут правы, — отвечал Чернышевский. — Но и мы не совершенно не правы. Падающему вся-

кая опора хороша, лишь бы подняться на ноги, и что же делать, если наше время не выказывает себя способным держаться на ногах собственными силами? И что же делать, если этот падающий может опереться только на гробы? И надобно еще спросить себя, точно ли мертвецы лежат в этих гробах? Не живые ли люди похоронены в них? По крайней мере не гораздо ли более жизни в этих покойниках, нежели во многих людях, называющихся живыми?..»

Но если так обстояло дело в области общественной мысли вообще, если в этой сфере Чернышевскому приходилось апеллировать против современного ему «хлама пустословия» к «гробам», то еще хуже обстояло дело с художественной литературой, лицом к лицу с которой оказался Чернышевский в начале своей литературной деятельности.

Умственный уровень русского образованного общества конца 50-х и начала 60-х годов был вообще невысок. На очень низкой ступени стояла и умственная культура той художественной среды, с которой пришлось иметь дело Чернышевскому. Ни молодой Толстой, ни Тургенев, ни Гончаров, ни Островский, ни Писемский, при всех тех громадных художественных средствах, которыми они располагали, не обладали ни сколько-нибудь выдержанным общим миросозерцанием, ни сколько-нибудь четкой точкой зрения на развертывающиеся перед ними процессы, ни сколько-нибудь обширным запасом знаний. Между авторами художественных произведений, на которые приходилось откликаться Чернышевскому, и самим Чернышевским лежала не только глубокая классовая пропасть, но и пропасть образования и осведомленности.

Было бы, однако, ошибкой предполагать, что результатом этого разрыва между критикой и современной ей художественной литературой являлось пренебрежительное или сплошь отрицательное отношение первой к последней. Подобное отношение прямо противоречило бы тем целям, которые ставил перед собой Чернышевский в своей литературно-критической деятельности, и тому понятию, которое он составил себе об очередных задачах литературной критики в России конца 50-х и начала 60-х годов. Ему часто приходилось защищать и пропагандировать произведения, в которых сам он видел лишь чисто формальные достижения (таковою была для Чернышевского в громадной части поэзия Пушкина) или «вещи очень мелкие по содержанию», но которые он принужден был признавать «луч-

шими сокровищами русской литературы» (такова противоречивая на первый взгляд оценка Чернышевским «Ревизора» и «Мертвых душ»). Он видел, как невелик запас тех художественных сил, которыми располагало современное общество, он хорошо знал его всестороннюю общественную, политическую и художественную невоспитанность; он поэтому весьма бережно относился к каждой силе, к каждому таланту, которые на его взгляд, не были окончательно потеряны для общей работы культурного подъема в том направлении, который представлялся ему исторически-прогрессивным. Он ни капли не страдал «детской болезнью левизны», не соразмеряющей своих требований с реально существующими отношениями. Иначе говоря — его оценка художественных произведений современной ему русской литературы и его требования к ней отнюдь не диктовались какими-либо абсолютными критериями, а были продиктованы ясным сознанием очередных задач, которые и в области формы, и в области содержания стояли тогда перед русской литературой. Но эти очередные литературные задачи были порождением определенного этапа классовой борьбы в русском обществе, и, как всегда бывает в переломные, критические моменты истории искусства, требования, предъявляемые к последнему идеологами нового класса, их переоценка «наследства», воспринимались как покушение на самое искусство, как отрицание самых его основ. Такие упреки и были направлены против литературно-критических статей Чернышевского. Первые же его статьи были восприняты как стремление «вычеркнуть из списка литераторов» ряд общепризнанных поставщиков беллетристики и поэзии для тогдашнего читателя. Чернышевского упрекали в непонимании и недооценке художественной формы произведений словесного искусства, в пренебрежении к вымыслу и фантазии в поэзии, в стремлении к дидактике, в проповеди насилия над талантами. Все это было неверно и может быть опровергнуто пункт за пунктом.

Растревоженные Чернышевским теоретики и практики литературного производства понимали взгляды Чернышевского как простое прямое противоположение их собственным взглядам и приемам. Они приписывали Чернышевскому собственные взгляды, ставя только знак минуса там, где сами они находили нужным ставить знак плюса. На деле позиция Чернышевского была много сложнее. Его оценки отнюдь не сводились к простому противоположению приемам

и общераспространенным канонам, к их преодолению, тактика его литературной борьбы заключалась не в простом и голом отрицании результатов предшествующего литературного развития, а в переоценке их с точки зрения нового класса. Так же как задача «Очерков гоголевского периода русской литературы» заключалась не в отметании предшествующих этапов развития русской общественной мысли, а *в отборе*, тех элементов ее, которые подготовляли и могли служить опорными пунктами революционной позиции идеологов крестьянской революции, так и в области искусства Чернышевский не отметал, а отбирал, пытаясь установить в смене художественных направлений ту линию, на которую могла бы опереться литература, удовлетворяющая требованиям новой расстановки классовых сил. То, что Дружинину, Анненкову, даже Тургеневу, наконец Герцену казалось у Чернышевского пренебрежением к вопросам стиля, художественной формы, внешней отделки художественных произведений, на самом деле было у Чернышевского не пренебрежением к этим вопросам, не отрицанием их существенной важности при оценке произведений поэзии, но лишь борьбой со старым стилем и поисками нового.

Но дворянские эстеты правильно чувствовали, что уже и формальные требования Чернышевского к поэзии представляют протест против барского стиля в литературе. «Меньше полировки и лакировки, больше жизненности и свободы, больше простоты и выразительности», — вот к чему сводятся требования Чернышевского в этой области. Энергичность, сжатость и свобода от установленных канонов — таковы его главные требования. На «сжатости» Чернышевский настаивает особенно.

«Сжатость, — писал Чернышевский, — первое условие эстетической цены произведения, выставляющая на вид все другие достоинства... Господствующая ныне эстетическая болезнь — водянка — делает столько вреда, что, кажется, отрадно бы было даже увидеть признаки сухотки, как приятен морозный день, сковывающий почву среди октябрьского ненастья, когда повсюду видишь бездонно-жидкие трясины».

«Сжатость — первое условие силы», — пишет Чернышевский в другом месте. Не трудно заметить в этом требовании сжатости и силы, в этом протесте против «бездонно-жидких трясин» или, как выражается Чернышевский в другом месте, против «пустословия бесцветных общих мест»

стремление к тому стилю литературы, который находился бы в наибольшем соответствии с тем энергичным и собранным в один революционный кулак мировоззрением, проводником которого был Чернышевский. Это же стремление явно сказывается и на всех замечаниях Чернышевского, посвященных формальным вопросам теории прозы и стиха. Эти замечания Чернышевского недавно подверглись специальному рассмотрению в статье В. Гиппиуса «Чернышевский — стиховед». Гиппиус констатирует, что Чернышевский «обнаруживает неожиданное для своего времени внимание к стихотворной технике»; это ряд мыслей Чернышевского в этой области были «и смелыми и плодотворными» и что они «нашли свое осуществление только в соответствующих работах нашего времени»; что взгляды Чернышевского на рифму и ее законы представляли не только смелое новаторство, но и лежали на основном пути развития русской поэзии. «Нигилист» и «разрушитель эстетики» Чернышевский обнаруживает гораздо большую стихологическую чуткость, — пишет Гиппиус, — чем, например, такой представитель чистого искусства, как Тургенев, который в интересах умеренности и аккуратности «Тютчева заставил застегнуться и Фету вычистил штаны», то есть изуродовал на правах редактора их выбившиеся из шаблона ритмически и семантически смелые стихи». Чернышевский, заключает автор, — «был выразителем стремления не к отмене, а к обновлению поэтических и в частности стиховых форм».

Этот приговор специалиста по сравнительно частному вопросу следует расширить на всю литературно-критическую практику Чернышевского. Он именно был выразителем стремления к обновлению формы и содержания художественного творчества сообразно требованиям той новой, выступавшей на арену исторической жизни социальной группы, которую он представлял.

С этой же точки зрения следует подойти к вопросу об оценке Чернышевским роли фантазии, вымысла в поэзии. Приверженцы старого эстетического канона упрекали Чернышевского в том, что он отвергает эти элементы в поэзии. Но Чернышевский отнюдь не отвергал их. Дело было только в том, что фантазия и мечты Чернышевского глубоко отличались от фантазии и мечты деятелей дворянской литературы. Чернышевский великолепно понимал, что фантазия, вымысел, мечта, противопоставленные действительно-

сти, могут играть революционную роль. Он воевал против «предпочтения действительной жизни отвлеченному фантазированию». Но с другой стороны сам же выражал «чрезвычайное сочувствие тому, что в стремлениях фантазии является здоровым отражением естественной потребности полного наслаждения действительной жизнью». «Своими идеалами приводит поэзия лучшую действительность» — писал Чернышевский. В этом смысле он признавал «объективное, значение мечты» и, отвергая мечтательность и фантазирование убивающее действительность или прикрашивающие ее, ценил поэтическую фантазию и мечту, как орудие революционного изменения действительности. К этому элементу вымысла и мечты он прибег сам в своей беллетристической деятельности, когда писал «Сны Веры Павловны», и этот его вымысел оказал громадное и вполне реальное влияние на направление мысли и деятельности ряда революционных поколений не только в России, но и за ее пределами.

Столь же извращено в традиционном представлении о Чернышевском и его отношение к дидактическому элементу в поэзии. Чернышевский решительно отвергал дидактику, поскольку она является извне навязанной художнику задачей. Он утверждал, что «сочинение, написанное с дидактической целью, никак не может назваться произведением поэзии», что необходимо «всеми силами гнать из искусства дидактику». Чернышевского было очень трудно соблазнить политической тенденцией поэтического произведения. Об одном немецком поэте 40-х годов он писал: «Его произведения явились потому, что он не мог не высказаться, тогда как у многих других немецких поэтов политической школы вы постоянно замечаете, что им хочется сказать то, что не вошло еще в них органически» [100]. Именно с этим связано у Чернышевского настойчивое требование «свободы таланта», понимаемой им как «постоянная гармония убеждений человека со смыслом его художественных произведений». Всякая фальшь в этом отношении была для Чернышевского нестерпима. Он не уставал повторять, что в сфере поэзии «всякая искусственность влечет к холодности и притворности, что лучший мед вытекает из сот сам собой, а выжимание приносит пользу только на маслобойне...» Вот что писал Чернышевский в письме к Некрасову:

«Вы говорите:

Нет в тебе поэзии свободной,
Мой тяжелый, неуклюжий стих.

Вам известно, что я с этим не согласен. Свобода поэзии не в том, чтобы писать именно пустяки в роде черноокнижия или Фета (который, однако, хороший поэт), а в том, чтобы не стеснять своего дарования произвольными претензиями и писать о том, к чему лежит душа. Фет был бы не свободен, если бы вздумал писать о социальных вопросах, — у него вышла бы дрянь; Майков одинаково не свободен, о чем ни пишет, у него все по заказу: и антологические стихотворения и «Две судьбы», и «Клермонтский собор». Гоголь был совершенно свободен, когда писал «Ревизора»: к «Ревизору» был наклонен его талант; а Пушкин был не свободен, когда писал под влиянием декабристов «Оду на вольность» и т. п., и свободен, когда писал «Клеветникам России» или «Руслана и Людмилу», — каждому свое, у каждого своя свобода... В этом состоит свобода, чтобы каждый делал то, что требуется его натурой» [101].

В конкретных условиях литературной деятельности Чернышевского это требование свободы было, конечно, требованием освобождения молодых литературных сил от старых, но еще тяготевших над их сознанием эстетических канонов и философского мировоззрения. Но в этом требовании заключался не только протест против гнета старых традиций, которые неизбежно должны были отрицательно сказаться на молодом поколении, от которого Чернышевский ждал обновления литературы. В нем заключалось признание того, что новое дело требует таких работников, которые пошли бы на него по свободному убеждению, которые стали бы петь новые песни потому, что «не могут не высказаться», а не потому, что хотят приспособиться к новому. Это вполне гармонировало с общим бодрым оптимистическим тоном Чернышевского. Он был вполне уверен, что новые задачи, поставленные перед литературой, вызовут к жизни и новых работников, в художественных произведениях которых воплотится новая гармония новых форм и нового содержания. «Умственных горбунов от природы мало», — писал Чернышевский, отдавая в полное распоряжение этих «горбунов» темы, «не вызывающие на размышление: восхождение солнца, описание весны, утра, бури... светские отношения, панегирические повести о грациозных красавицах и о необыкновенно блестящих молодых людях».

«Есть люди, неспособные искренно одушевляться участием к тому, что совершается силою исторического движения вокруг них; для таких писателей бесполезно было бы

накладывать на себя маску патетического одушевления современными вопросами, — пусть они продолжают быть, чем хотят: великого ничего не произведут они ни в каком случае»...

Чернышевский отнюдь не требовал от поэзии обязательно социального или политического содержания. В этом смысле чрезвычайно характерно его отношение к первым произведениям Льва Толстого. Взгляды Толстого того периода, к которому относится отзыв Чернышевского, он характеризовал в частных письмах как совершенно «дикие». Несмотря на это отзыв Чернышевского о произведениях Толстого проникнут глубокой симпатией к его «блистательному» таланту. Что же ценит он в Толстом? Вот его слова: «Психологический анализ может принимать различные направления: одного поэта занимают всего более очертания характеров; другого — влияние общественных отношений и житейских столкновений на характеры; третьего — связь чувств с действиями, четвертого — анализ страстей; графа Толстого все более — сам психологический процесс, его формы, его законы, диалектика души, чтобы выразиться определенным термином... Это — уловление драматических переходов одного чувства в другое, одной мысли в другую... Психологический анализ едва ли не самое существенное из качеств, дающих силу творческому таланту... Та особенность таланта графа Толстого, о которой говорили мы выше, показывает, что он чрезвычайно внимательно изучал тайны жизни человеческого духа в самом себе; это знание драгоценно не только потому, что доставило ему возможность написать картины внутренних движений человеческой мысли, на которые мы обратили внимание читателя, но еще быть может больше потому, что дало ему прочную основу для изучения человеческой жизни вообще, для разгадывания характеров и пружин действия, борьбы страстей и впечатлений» [102]...

В некоторых строках сейчас цитированных отрывков не трудно вскрыть и те практические соображения, которые заставили Чернышевского особенно внимательно отнестись к картинам психической жизни, рисуемым Толстым. Он ясно намекает на то, что практическая общественная деятельность должна опираться на знание людей и умение ими руководить, на умение «разгадывать характеры и пружины действий» и что для овладения этим необходимым для общественной деятельности знанием художественные произ-

ведения Толстого могут послужить одним из важнейших подспорьев. Но, конечно, не одни эти практические соображения сами по себе обусловили интерес Чернышевского к творчеству Толстого; в изучении «диалектики души» он видел самостоятельную и достойную область художественного творчества.

Так падают один за другим все те упреки, которыми приверженцы старого стиля в литературе пытались подорвать значение критической деятельности Чернышевского. То что казалось им покушением на самые основы искусства, на деле было лишь потрясением их искусства — искусства отживающего класса. Правда же заключалась в том, что критические работы Чернышевского подготовляли и оформляли новое искусство, рассчитанное на новую аудиторию, говорящее с этой новой аудиторией новыми приемами и воплощающее новое содержание. Ни в одной области это новое искусство не хотело и не могло быть уже и скуднее того искусства, которому оно шло на смену. Наоборот, оно неизмеримо расширяло и форму, и область творчества, беспощадно уничтожая лишь то, что превращало искусство по форме или по содержанию в прислужницу или забаву умирающего класса.

Тот стиль, которого требовал Чернышевский, слагался из двух элементов: он требовал от художественного произведения правды и страсти, ибо правда о жизни и страстное стремление к ее преобразованию были необходимейшими элементами того мировоззрения, распространению которого он посвятил себя. Но требование правды от художественных произведений било в лицо тому идеалистическому канону, который господствовал в современной Чернышевскому литературе и который требовал лакировки и полировки жизни, прежде чем она будет перенесена на страницы литературы. Что касается страсти, то требование ее тоже находилось в глубочайшем противоречии с тем олимпийским спокойствием, дополняемым философским скептицизмом и эпикуреизмом, которые господствовали в поэзии дворянской усадьбы на ущербе. Все это было неприемлемо для Чернышевского; оно оскорбляло его чувство жизни и красоты, ибо явно стояло в глубочайшем противоречии с тем пафосом жизни, который вдохновлял Чернышевского в эпоху революционного потрясения. Олимпийское спокойствие, эпикурейство и философская резиньяция так же, как проповедь умеренности и аккуратности в какой бы поэтиче-

ской форме они ни подносились, должны были производить и производили на Чернышевского впечатление антипоэтической мертвенности. Лишь поэзия правды, страсти и борьбы, выраженная в формах энергичной сжатости, соответствовала той социальной позиции, на которой стоял Чернышевский.

С точки зрения этих требований меньше всего могли удовлетворять Чернышевского те эпохи мировой литературы, которые в той или другой форме отражали завершенность, равновесие того или другого общественного строя.

«Мы привыкли искать в лирической поэзии, — писал Чернышевский, — пафоса, пламенного одушевления, задушевного чувства, глубокой скорби или страстной жизни. Ничего подобного нет у Горация, — пафос его поэзии выражается знаменитою одою его к Лицинию:

Счастливей проживешь, Лицин, когда спесиво
Не станешь в даль пучин прокладывать следов,
Иль, устрашася бурь, держаться боязливо неверных берегов.

Пафос поэзии Горация, — продолжал Чернышевский, — мудрое правило, внушаемое баснею Крылова «Водолазы», из которых один, слишком державшийся берегов, едва доставал себе насущный хлеб, собирая дрянные раковины, другой, захотевший искать бесчисленных сокровищ в пучинах океана, утонул, а третий, избравший местом своих поисков место, где было ни глубоко, ни мелко, наловил множество жемчуга, — нравоучение очень пригодное для житейских дел, вовсе не поэтическое»[103].

Далее:

«Гораций — защитник нравственности, но какой нравственности? Умеренной, уступчивой, снисходительной, допускающей все на свете: и вино, и разврат, но только в приличном, благопристойном виде, насколько вино и разврат не вредят здоровью, денежным делам и добропорядочному имени. Такова его поэзия во всем: и в любви, и в гражданских доблестях, и в патриотизме, — во всем он воспевает «умеренность и аккуратность» — он поэт житейской мудрости».

Не менее гневно, чем к эпикуреизму Горация, относился Чернышевский и к олимпийству Гете. Он высоко ценил «Фауста», считал его «самым драматическим произведением из всех мне известных и самым безукоризненным по строгой художественности форм: нельзя найти там ни од-

ного слова, которое не было бы необходимо и не было бы на своем месте; и как страшно и необходимо развивается перед вами драма». Ценил Чернышевский и некоторые другие произведения Гете периода «бури и натиска».

Но олимпийство Гете было решительно враждебно Чернышевскому.

«От Гете никому не было ни тепло, ни холодно, он равно заботлив и утонченно деликатен к каждому. К Гете может являться каждый, каковы бы ни были его права на нравственное уважение».

И он противопоставлял Гете писателей, которые:

«...не держат открытого стола для каждого встречного-поперечного; он, если сядет за их стол, будет давиться каждым куском и смущаться от каждого слова; и, убежав с этой тяжелой беседы, вечно будет поминать лихом сурового хозяина».

Он ценит поэзию, которая способна «возбудить во многих вражду к себе». У этих художников,

«...если у них есть враги, то есть и многочисленные друзья; и никогда незлобивый поэт не может иметь таких страстных почитателей, как тот, кто... пылает горячей ненавистью ко всему низкому, пошлому и пагубному; кто «враждебным словом отрицания» против всего гнусного «проповедует любовь» к добру и правде. Кто гладит по шерсти всех и все, тот кроме себя, не любит никого и ничего, кем довольны все, тот не делает ничего доброго потому, что добро невозможно без оскорбления зла»[104].

Ясно, что всем этим намечаются элементы нового стиля художественной литературы, которая стояла бы на уровне революционных задач эпохи. Современная Чернышевскому русская литература противостояла этим требованиям нового стиля, как нечто косно-враждебное. С глубочайшим и естественным пессимизмом относился Чернышевский к тому содержанию, которое подносила ему современная литература. «Ревизора» и «Мертвые души» он считал высшими достижениями русской литературы, в частности о «Мертвых душах» он писал, что это «колоссальнейшее из первостепенных произведений русской литературы», и тут же добавлял:

«Мы восхищаемся и поучаемся «Горем от ума», «Ревизором», «Мертвыми душами», как произведениями, в которых полно и верно отразилась наша жизнь; а французы, англичане, немцы о произведениях своей литературы, в ко-

торых жизнь общества была бы воспроизведена в тех границах, как в «Ревизоре» и «Мертвых душах», сказали бы, что они отражают жизнь очень неполно и отрывочно, — они сказали бы даже, что это — произведения очень отвлеченные от жизни».

Новая эпоха и новый класс, которые говорили устами Чернышевского, не могли ограничиться ни художественной формой Пушкина, Гоголя и Тургенева, ни общим мировоззрением, определявшим содержание их произведений, — они требовали гораздо большего.

Примером Гоголя, великого художника, погибшего под бременем неспособности сочетать свое художественное восприятие действительности с ее критическим осмыслением и погибшего в трясинах мистики. Чернышевский как бы предупреждал современное поколение художников, что ни художественный талант, ни критическое отношение к отдельным областям жизни не спасут их от краха, если они не проникнутся мировоззрением, которое способно обнять и объяснить весь ход жизненного процесса.

Но не только узость содержания и слабость мысли констатировал Чернышевский в современной ему литературе,— были еще два важных обстоятельства, на которые он не уставал указывать. Прежде всего это было отношение дворянской литературы к народной массе. Дворянское народолюбие претило Чернышевскому так же, как дворянский либерализм. Жизнь крестьянской массы, с которой связывал дальнейшую судьбу страны Чернышевский, отражалась в произведениях самой расположенной к народу фракции дворянской литературы (Тургенев, Григорович) так, что это вызывало в Чернышевском лишь чуть-чуть прикрытое литературным приличием отвращение. В том, в чем либеральная критика во времена Чернышевского и долго после него видела проявление истинного гуманизма, Чернышевский видел лишь проявление барства.

Чернышевский приравнивает отношение русской дворянской литературы в самой гуманной ее фракции к народу с отношением Гоголя к Акакию Акакиевичу.

«Говорить всю правду об Акакии Акакиевиче бесполезно и бессовестно, — пояснял Чернышевский, — можно говорить о нем только то, что нужно для возбуждения симпатии к нему. Сам для себя он ничего не может сделать, будем же склонять других в его пользу. Но если говорить другим о нем все, что можно было бы сказать, их состра-

дание к нему будет ослабляться знанием его недостатков. Будем же молчать о его недостатках. Таково было отношение прежних наших писателей к народу... Читайте повести из народного быта г. Григоровича и Тургенева со всеми их подражателями, — все это насквозь пропитано запахом «шинели» Акакия Акакиевича. Прекрасно, благородно, — в особенности благородно до чрезвычайности. Только какая же польза из того народу? Для нас польза действительно была и очень большая. Какое чистое и вкусное наслаждение получали мы от сострадательных впечатлений, сладко щекотавших нашу мысль ощущением нашей способности трогаться, умиляться, сострадать несчастью, проливать над ним слезу, достойную самого Манилова. Мы становились добрее и лучше, — нет, это еще очень сомнительно, становились ли мы добрее и лучше, но мы чувствовали себя очень добрыми и хорошими. Это очень большая приятность, ее можно сравнить только с тем удовольствием, какое получал покойный муж Коробочки от чесания пяток, или, чтобы употребить сравнение более знакомое нам, людям благовоспитанным, мы испытывали то же самое наслаждение, какое доставляет хорошая сигара. Славное было для нас время»[105].

И в дальнейшем Чернышевский не жалеет выражений для характеристики этого барского отношения дворянской литературы к русскому мужику, характеризуя его, как «пресную лживость», как «тупоумный прием», как фактическое оправдание крепостничества.

Следующим обстоятельством, которое вызывало негодование Чернышевского к дворянской литературе, была неспособность ее воплотить в своих произведениях не только революционные стремления и тенденции масс, но даже революционные тенденции, которые проявлялись в ее собственной среде. Первой попыткой показать революционера на страницах русской художественной литературы явился «Рудин» Тургенева, и именно на него напал с беспредельным негодованием Чернышевский, как на недостойную карикатуру. «Повесть должна была иметь высокий трагический характер, посерьезнее Шиллера Дон-Карлоса, — писал Чернышевский, — а вместо того вышел винегрет сладких и кислых, насмешливых и восторженных страниц, как будто сшитых из двух разных повестей. Можно бы припомнить и еще несколько повестей в том же роде, — повестей прекрасных, лучших в нынешней нашей литературе, но име-

ющих только один маленький недостаток: автор боялся компрометировать себя или своих героев и героинь; он боялся, что скажут: «Это безнравственно» [106].

Итак, узость содержания, слабость обобщающей мысли, барское отношение к народу, презрительно-отрицательное отношение к революционным тенденциям — вот что видел Чернышевский даже в крупнейших представителях современной ему литературы.

С величайшей напряженностью вглядывался он в их художественные произведения, разыскивая в них те элементы, которые могли бы войти в литературу новой эпохи. Он искал в них той гармонии мысли и образа, вне которой им вообще не мыслилось художественное произведение, и не находил ее. Действительное предвосхищение этой литературы Чернышевский видел только в Некрасове, которого ценил и защищал до самой смерти. Отношения Чернышевского к Некрасову очень характерны. Они представляют прямую параллель отношению Маркса к Гервегу в 40-х годах и к Фрейлигграту в 50-х. В Некрасове, и в нем одном, Чернышевский нашел ту гармонию мысли и образа, которую он искал и которая хотя бы в известной мере находилась на уровне его миросозерцания. И действительно, о Некрасове, больше чем о ком бы то ни было из современников Чернышевского, можно сказать, что его поэзия вливалась в общий поток выработки и утверждения революционно демократической мысли. «Мужицкий демократизм», революционные тенденции, апологию революции, отталкивание от барской культуры и барской эстетики — вот что ценил в поэзии Некрасова Чернышевский. Но он ценил в ней не только это содержание — она удовлетворяла и другому требованию, которое Чернышевский предъявлял к поэту. Для нового содержания Некрасов, и именно он, нашел новую форму. Барский эстетизм Тургенева окрестил поэзию Некрасова: «папье-маше под приправой острой водки», а Чернышевский почувствовал в ней ту силу, энергию и выразительность, которая вполне гармонировала с новым содержанием его поэзии. Поэзия Некрасова была для Чернышевского доказательством и прообразом новой литературы, как бы реальным воплощением той новой эстетики, которую он противопоставлял эстетике дворянской литературы. Вот почему он готов был простить Некрасову многое, чего не прощали ему его старые приятели-дворяне. Он применял к Некрасову то правило, которое к Гервегу, Гейне и Фрей-

лиграту применял Маркс *. Только в Некрасове не разочаровался Чернышевский, как должен был разочароваться и в Толстом, и в Тургеневе и, конечно, в Писемском, и других. Не разочаровался именно потому, что Некрасов, несмотря на все свои падения и ошибки, действительно навсегда связал свою жизнь и поэзию с революционно-демократическим движением. Именно поэтому Чернышевский писал уже в 1877 году из Вилюйска А. Н. Пыпину:

«Если, когда ты получишь мое письмо, Некрасов еще будет продолжать дышать, скажи ему, что я горячо любил его как человека, что я благодарю его за его доброе расположение ко мне, что я целую его, что я убежден: его слава будет бессмертна, что вечна любовь России к нему, гениальнейшему и благороднейшему из великих русских поэтов. Я рыдаю о нем. Он действительно был человек очень высокого благородства души и человек великого ума. И как поэт он, конечно, выше всех русских поэтов» ** [107].

Может показаться невнимательному взору, что наибольшее соответствие своим требованиям Чернышевский нашел, сверх Некрасова, в художественной деятельности Николая Успенского. Но так может показаться, конечно, только невнимательному взору. Чернышевский действительно приветствовал рассказы Н. Успенского из народного быта, но приветствовал их только как слабое проявление нового отношения к народу, как рассказы, которые одновременно должны были «жестоко оскорбить» сентиментально-барское представление о народе в романах и повестях дворянской литературы. Эта статья Чернышевского представляет собой нечто гораздо большее, чем литературно-критический разбор. Это, собственно говоря, руководство для пропагандистов, блестяще написанный «спутник агитатора» для того молодого поколения, которое в скором времени под влиянием в очень большой степени Чернышевского должно было на-

* Об отношениях Маркса к этим поэтам, представляющих великолепный прообраз отношений Чернышевского к Некрасову, а также Ленина к революционной литературе его эпохи, см. Ф. Шиллер. «Очерки по истории немецкой революционной поэзии XIX века». 1933 г.

** Этот привет из Вилюйска дошел до Некрасова 5 ноября 1877 года. Пыпин был у него. «Видеть его теперь можно редко... Но он просил, чтобы я зашел к нему. Говорить надо было, наклонясь к нему: он говорит едва слышным шопотом. Я передал ему твои слова. Он был тронут: «Скажите Н. Г., что я благодарю его, я теперь утешен: его слова дороже мне, чем чьи-либо слова... Теперь у него есть утешение: твои слова».

чать свое революционное «хождение в народ». Успенского Чернышевский хвалил за то, что о нем его «сиволапые собеседники не делают такового отзыва, что вот, дескать, какой добрый и ласковый барин, а говорят о нем запросто, как о своем брате, что дескать, это парень хороший и можно водить с ним компанство... Десять лет тому назад не было из нас, образованных людей, такого человека, который производил бы на крестьян подобное впечатление» [108].

Расчистить дорогу к тому, чтобы революционная интеллигенция могла «водить компанство» с трудящейся массой, Чернышевский считал очередной задачей всей своей литературной деятельности и как прямой признак благоприятного поворота в этом отношении и приветствовал рассказы Н. Успенского, отнюдь не считая последнего сколько-нибудь выдающимся художником.

Такою же выходящей уже за пределы литературной критики статьей был и разбор Чернышевским «Аси» Тургенева. Это не литературно-критическая статья, а блестящий политический памфлет против людей 40-х годов. Вспомним, как оценил в этой статье Чернышевский лучших представителей дворянской культуры в лице героя повести. «Он обманул нас,—писал Чернышевский,— обманул автора. Да, поэт сделал слишком грубую ошибку, вообразив, что рассказывает нам о человеке порядочном: этот человек дряннее отъявленного негодяя». И уже ко всем представителям либеральной дворянской интеллигенции, а не только к герою «Аси», относились слова Чернышевского: «Он похож на моряка, который всю свою жизнь делал рейсы из Кронштадта в Петербург и очень ловко умел проводить свой маленький пароход по указанию вех между бесчисленными мелями в полупресной воде; что если вдруг этот опытный пловец по стакану воды увидит себя в океане?»

Океан — то широкое массовое революционное движение, которое предвидел Чернышевский. И не только судьбу дворянства как экономической и политической группы, но и как руководительницы культуры вообще и литературы в частности, предрекал Чернышевский в той же статье словами:

«Будут видеть они и не увидят; будут слышать и не услышат, потому что загрубел смысл в этих людях и оглохли их уши и закрыли они свои глаза, чтобы не видеть» [109].

В другой статье Чернышевский писал:

«Мы приготовлены теперь к тому, чтобы слушать другие речи... речи человека, который становится во главе исторического движения со свежими силами», и прибавлял:

«Мы слышали от самого Рудина, что время его прошло; но он не указал нам еще никого, кто бы заменил его, и мы еще не знаем, скоро ли мы дождемся ему преемника. Мы ждем еще этого преемника, который, примкнув к истине с детства, не с трепетным экстазом, а с радостною любовью смотрит на нее; мы ждем такого человека и его речи, бодрейшей, вместе спокойнейшей и решительнейшей речи, в которой слышались бы не робость теории перед жизнью, а доказательство, что разум может владычествовать над жизнью и человек может свою жизнь согласить со своими убеждениями» [110].

Это был приговор людям 40-х годов и одновременно призыв к новому революционному поколению. Это одно из тех мест, о которых Ленин писал, что Чернышевский «умел и подцензурными статьями воспитывать настоящих революционеров». Дворянская литература устами Тургенева ответила на этот призыв карикатурой на Добролюбова — Базаровым. Сам Чернышевский ответил — Рахметовым, прототипом и образцом целого поколения героев-борцов за народное дело, и своею собственною жизнью.

Революция, к которой шла Россия в 50-х — 60-х годах, оказалась в тот момент сорванной. Незавершенной, насильственно прерванной оказалась и жизнь и общественно-литературная деятельность Чернышевского. Незавершенной оказалась и эстетическая теория или литературно-критическая практика Чернышевского. Как революция, как жизнь Чернышевского, незавершенными остались и теоретическая мысль и выработка нового литературного стиля, которые творил Чернышевский в полном созвучии с требованием нового класса, пытавшегося (но не сумевшего в эпоху Чернышевского) вырваться на арену активной исторической деятельности. Процесс нарастания революции, прерванный в 60-х годах XIX в., получил свое завершение в трех революциях XX века. Жизнеспособные элементы теоретической мысли Чернышевского нашли свое завершение в той теории, которая предсказала, проделала и осмыслила эти революции, — в теории и практике коммунизма. Но свое историческое дело Чернышевский сделал, сделал его, между прочим, и в сфере разрушения «культурных» ценностей дворянской и капиталистической идеологии.

VI. ПОД ОБСТРЕЛОМ

1

Появление на исторической арене программы крестьянской революции, да еще в социалистическом облачении, — программы Чернышевского — не могло не вызвать резкого обострения политической борьбы. И действительно программа Чернышевского и вся его литературно-политическая деятельность резко двинули вперед процесс кристаллизации политических течений.

Достоевский упоминает в одной из своих публицистических статей 60-х годов, что статьи Чернышевского вызывали нечто вроде «землетрясения». Перед лицом этой программы все направления общественной мысли должны были высказаться ясно и до конца. Ни махровые крепостники, ни либералы-«освободители» не могли молчать. Самым фактом своей деятельности Чернышевский заставил до конца обнажиться и размежеваться разнородные тенденции. Началась борьба, в которой классовые корни разных политических направлений и литературно-политических групп обнаружились с великолепной ясностью. Впервые в истории русской общественной мысли различные классовые группы столкнулись на более или менее широкой арене, в более или менее открытой форме по одному из коренных вопросов социальной жизни, захватывающих интересы миллионных трудящихся масс.

Царская цензура сделала все возможное и необходимое для того, чтобы затемнить смысл спора.

«Прямо говорить нельзя, — писал Чернышевский в одном частном письме 1858 года, — будем говорить как бы о посторонних предметах, лишь бы связанных с идеей о преобразовании сельских отношений» [111].

Но если Чернышевский принужден был проводить свой призыв к революции в форме бесед «как бы о посторонних предметах», то его классовые враги прекрасно понимали, о чем идет речь, и били не по «посторонним предметам», а по центральному пункту пропаганды Чернышевского. Классовое чутье хорошо помогало здесь врагам Чернышевского.

Классовые враги Чернышевского были тем более встревожены, что Чернышевский не ограничивался абстрактной проповедью начал социалистической программы. Он уделял много внимания вопросам ее реального проведения в жизнь. А в этой области он высказывался как решительный сторонник революционной тактики и массовых революционных действий.

Здесь Чернышевским руководило не только сознание того, что «история — борьба, а в борьбе нежность неуместна» (слова Чернышевского), но его глубокая концентрированная ненависть к господствующему классу, которая только отражала веками накопленную ненависть широких крестьянских масс.

Описывая героя одного из своих публицистических романов и его самочувствие в эпоху крестьянской реформы, Чернышевский писал:

«Он улыбался с угрюмой иронией, размышляя о том, какую буколику строит он в пользу помещиков и как несходно с нею то, что они не имеют права ни на грош вознаграждения; а имеют ли право хоть на один вершок земли в русской стране, это должно быть решено волею народа. Должно — и, разумеется, не будет. Тем смешнее вся эта штука. Она была так смешна, что Волгин начинал злиться. У бессильного одно утешение — злиться. Ему противно становилось смотреть на этих людей, которые остаются безнаказанны и безубыточны; безубыточны во всех своих заграбленных у народа доходах; безнаказанны за все угнетение и злодейства; противно, обидно за справедливость, — и он *опускал нахмуренные глаза к земле, чтобы не видеть врагов народа, вредить которым был бессилен*»[112]...

Это Чернышевский писал о себе. Эти слова надо помнить, читая статьи и письма Чернышевского. Они объясняют многое в их стиле и содержании.

Борьбу с врагами народа Чернышевский понимал как гражданскую войну.

«Гражданские средства, — писал он, — составляют только меньшую часть сил, находящихся в распоряжении преж-

ней системы. Коренная сила ее заключается в военных мерах, которые постоянно держатся в резерве при всяких важных исторических вопросах. Как спор между различными государствами ведется сначала дипломатическим путем, точно так же и борьба из-за принципов внутри государства ведется сначала средствами гражданского влияния или так называемым законным путем. Но как между различными государствами спор, если имеет достаточную важность, всегда приходит к военным угрозам, точно так и во внутренних вопросах государства, если дело немаловажно... А от угроз доходит и до войны»[118].

Нет никакого сомнения в том, что приведенное сейчас рассуждение о роли «войны» и военных средств в решении внутренних вопросов государства было для аудитории Чернышевского прямым указанием тех методов, которыми должны решаться и поставленные на очередь дня вопросы российского государства.

О роли, значении и исторической целесообразности методов гражданской войны недвусмысленно высказывался Чернышевский неоднократно, пользуясь для этого всяким поводом, представлявшимся современной ему историей Европы и Америки. Например, по поводу гражданской войны в Америке, в связи с вопросом об освобождении негров, Чернышевский рассуждал так:

«Дело идет к решительной развязке, результаты которой не подлежали бы сомнению. Но мы не отваживаемся надеяться, чтобы кризис дошел до нее. Линкольн уже объявил, что находит обязанностью союзной власти употребить военную силу... Чтобы исполнилось это, надобно желать только одного, чтобы сецессионисты (сторонники рабовладельчества) продолжали еще два месяца действовать с прежней отчаянностью. Но мы не отваживаемся иметь эту надежду на их безрассудство... Они уже смущаются... Очень может быть, что сецессионисты смирятся — *это было бы хуже всего* [курсив здесь и ниже мой. — *Л. К.*]. *Но мы не смеем надеяться, что этого не случится*... Тогда севером (сторонниками освобождения) снова овладеет мирное расположение, и дело будет окончено каким-нибудь компромиссом, то есть взаимными уступками, ничего не решающими, со взаимными обещаниями отложить вопрос о невольничестве, чего ни та, ни другая партия не может исполнить. *Компромисс был бы несравненно хуже всего* — хуже междоусобной войны... еще гораздо хуже мирного расторжения

союза. Эти обе развязки повели бы к восстановлению союза с уничтожением невольничества... А компромисс опять оттягивал бы дело. Впрочем, это хорошо говорить нам — посторонним. Нам нечего жалеть людей вроде Буханина и других [защитников рабства. — *Л. К.*], они не родня *нам*. Но северным свободным людям они братья по происхождению, по прежнему дружному и славному прошедшему. Север слишком, слишком готов щадить их» [114].

Дело ясно. Чернышевский явно указывал, что для освобождения от рабства междоусобная — по-нашему, гражданская — война выгоднее всякого другого решения, и *он не смел надеяться* на этот исход. Он опасался компромисса, «который хуже всего», потому что сторонники освобождения — «родня» сторонникам рабства.

Это писалось в 1861 году, в самый момент крестьянской реформы, и обозначало, что компромисс либералов и крепостников в России заключен, потому что либералы и крепостники — классовые родичи, заключившие компромисс за счет классово чуждого и враждебного им крестьянства. Да, Чернышевский и подцензурными статьями умел воспитывать подлинных революционеров!

Не менее значительно звучали и следующие слова Чернышевского:

«Человек, который принимает участие в политическом перевороте, воображая, что не будет при нем много раз нарушаться юридический принцип спокойных времен, должен быть назван идеалистом... Мы не хотим решать, хорошая ли вещь военные победы; но решайтесь, прежде чем начнете войну, не жалеть людей, а если хотите жалеть их, то не следует вам и начинать войну. Что о войне, то же самое надобно сказать и о всех исторических делах: если вы боитесь и отвращаетесь тех мер, которых потребует дело, то не принимайтесь за него и не берите на себя ответственности руководить им, потому что вы только испортите дело» [115].

Нет сомнений, Чернышевский был сторонником методов гражданской войны в решении основных вопросов, касающихся положения масс. Он «не боялся» и «не отвращался» тех мер, которых потребует это дело.

Это знаем не только мы. Это знали и враги Чернышевского. Вот почему для изучения и оценки действительной роли Чернышевского громадное значение имеет изучение

таких, например, документов, как анонимные письма, адресованные его противниками ему и правительству.

Это — документы поразительной силы и цельности, свидетельствующие об очень высоком уровне классовой сознательности врагов Чернышевского. Они показывают одновременно, до какого высокого напряжения дошла классовая борьба в эпоху Чернышевского и как хорошо сознавали и крепостники, и либералы-«освободители», с чем они имеют дело в проповеди Чернышевского.

«Неужели мы не видим вас с ножом в руках, в крови по локоть? — писал в анонимном послании Чернышевскому защитник дворянских интересов в конце 1861 года. — Неужели мы можем сочувствовать заклятым социалистам (направление вашего журнала нам понятно), которые ищут и будут искать нашей погибели, которые с мартовским восторгом принесут в жертву для осуществления своих бредней наше имущество, нас самих, наши семейства?.. Скажите, пожалуйста, неужели же вы думаете, что мы настолько просты, что будем жертвовать собою ради социализма, признанного наукой несчастным произведением больного ума... Мужички наши мало чем нравственнее монголов, шамсугов и т. д. Они найдут себе другого Антона Петрова *, о котором так искренне сожалеет ваша хамская натура... Кого вы презираете? Лучшее сословие в России — дворянство. На кого вы надеетесь? На полудикое сословие — мужиков... Мы — люди благородные и поэтому бесстрашно встретим смерть, защищая права, законные, несомненные... Нас много. Теперь мы настороже и, поверьте, не станем с вами нежничать... Считаем нелишним заметить вам, господин Чернышевский, что мы не желаем видеть на престоле какого-нибудь Антона Петрова, и если действительно произойдет кровавое волнение, то мы найдем вас... или кого-нибудь из вашего семейства, и, вероятно, вы не успеете запастись телохранителем» [116].

Одновременно другой автор писал начальнику царской тайной полиции:

«Благонамеренной литературе давайте ход, не тесните: это хуже. Но Чернышевского с братьями и с «Современником» уничтожьте. Не по чувству личной вражды — я его не знаю, — а по чувству самосохранения твержу вам: из-

* Антон Петров — известный руководитель восстания крестьян в Казанской губернии в 1861 г.

бавьте нас от Чернышевского и его учения. Это — враг общества и враг опасный, — опаснее Герцена... Прислушайтесь к толкам ученого кружка, все того мнения; что я говорю, то я вынес из беседы с учеными, где верчусь иногда» [117].

Через неделю после ареста Чернышевского тот же блюститель интересов дворянского государства писал по тому же адресу:

«Спасибо вам, что засадили Чернышевского. Спасибо от многих. Теперь не выпускайте лисицу. Пошлите его в Соликамск, Яренск, что-нибудь в этом роде. Это — опасный господин. Много юношей сгубил он своим ядовитым влиянием» [118].

Эти документы превосходно вскрывают сущность той социально-политической борьбы, которая разгорелась вокруг программы Чернышевского.

Авторам приведенных писем нельзя отказать ни в классовом сознании, ни в резкой и определенной постановке вопросов. Они лучше понимали роль Чернышевского и социально-политическое содержание его программы, чем многие историки русской революционной мысли.

2

Не нужно, однако, полагать, что авторы приведенных выше политических документов стояли одиноко среди тогдашнего либерального и «культурного» общества. Нет, они только резче и откровеннее выражали те чувства, которые были характерны для всего дворянского общества перед лицом проповеди Чернышевского. Литературные противники и личные враги — Тургенев и Толстой, Катков и Кавелин, Достоевский и Корш, — объединенные общей ненавистью к мужицкой революции и общим страхом перед социализмом, одинаково воспринимали проповедь Чернышевского и одинаково реагировали на нее.

Перечисленные нами имена — к ним надо прибавить Герцена и Огарева — представляют цвет тогдашней интеллигенции. Многие из этих имен вошли с честью и по праву в историю не только русской, но и мировой культуры — и пролетарская культура у них учится и многое из их наследия берет себе. Но в отношении к революции и социализму это были люди своего класса и их подлинная классовая природа ни в чем не сказалась так ярко, как в отношении к Чернышевскому.

Это были лучшие, наиболее культурные, наиболее образованные, наиболее утонченные представители *интеллигенции владельческих классов*, и вся их культура, все их образование, вся тонкость их чувств не предохранила их от чисто животной ненависти и животного страха перед проповедью Чернышевского.

Их высказывания по поводу первой программы массовой крестьянской революции характерны и для Чернышевского, и для них. Не отмечая этих сторон в деятельности и писаниях Тургенева, Толстого, Достоевского, мы допустили бы крупнейшую ошибку в оценке всего хода истории русской культуры и классовых отношений, лежащих в ее основе.

История революционной мысли в России знает много моментов, когда ожесточение «культурных людей» против народной революции доходило до высшего предела кипения. Мы помним — и запомним надолго, навсегда! — те лохани подлинно животной ненависти и злобы, которые обрушило «культурное» общество на Ленина и возглавленную им пролетарскую революцию. Но может быть эти лохани клеветы и гнусных выдумок не были бы так неожиданны, если бы мы внимательнее изучали и присматривались к отношению лучших представителей «культурного общества» к Чернышевскому, который ведь не успел в своей революционной деятельности сделать ничего, кроме опубликования ряда подцензурных статей (прокламация «К барским крестьянам», принадлежность которой Чернышевскому установлена только недавно, в данном случае не имеет значения).

Самым «просвещенным» либералам и радикалам из дворянской интеллигенции, даже тем из них, которые были в известной мере пропитаны «народническими» стремлениями, даже тем из них, которые считали себя «неисправимыми социалистами» (Герцен), позиция Чернышевского и его деятельность должны были казаться полным «нигилизмом», святотатственным покушением на основные ценности культуры, отрицанием всех завоеваний человеческого духа, наконец — политическою бестактностью, способной лишь помочь политической и идеологической реакции. За всем этим, казалось им, может стоять только личная злобность, зависть и ни на чем не основанная самонадеянность. В Чернышевском они чувствовали надвигающуюся грозу, но не умели ее даже осмыслить. Литературная деятельность Чер-

нышевского, отношение к нему его литературных противников, его судьба — один из самых наглядных и один из самых драматических эпизодов *классовой борьбы в литературе*. Этот эпизод приобрел такую классически законченную, такую наглядную и такую драматическую форму потому, что он был *прямым, непосредственным* отражением напряженнейшего момента *классовой борьбы в стране*. В сфере литературных отношений это нашло свое выражение, между прочим, и в том, что у целого ряда современных Чернышевскому литературных деятелей — не только у таких людей, как Кавелин, Дружинин, Боткин, но и у таких, как Тургенев, Толстой, Герцен, — мы находим ряд признаний, свидетельствующих о том, что Чернышевский, его образ, его стиль были для них прямо-таки физиологически невыносимы и неприемлемы. Здесь напряженность классовой борьбы буквально переросла в физическое отталкивание.

Граф Л. Н. Толстой писал:

«Новое направление в литературе сделало то, что все наши старые знакомые и ваш покорный слуга сами не знают, что они такое, и имеют вид оплеванных».

Он же писал Некрасову:

«Нет, вы сделали великую ошибку, что упустили Дружинина [литературного и политического реакционера. — *Л. К.*] из нашего союза. Тогда возможно было надеяться на критику в «Современнике», а теперь — срам с таким клоповоняющим господином».

Речь идет о Чернышевском. Вот она, графская, дворянская культура!

В этом же стиле, с той же физиологической ненавистью к революционеру Чернышевскому писал тонкий эстет и культурный европеец Тургенев:

«Современник» плох. Не то выдохся, не то воняет».

Эта физиологическая ненависть людей барской культуры к появившемуся на исторической арене представителю мужицкого демократизма, однако, пыталась найти себе теоретическое оправдание и прикрытие своего неказистого содержания высокими идеалами любви, красоты и искусства.

«В тихое интимное созерцание немногих людей истинного искусства, — отвечал Толстому его адресат Боткин, — ворвалась наша грубая, гадкая практическая жизнь».

А Толстой продолжал, имея в виду кружок Чернышевского:

«У нас не только в критике, но и в литературе, даже просто в обществе, утвердилось мнение, что быть возмущенным, желчным, злым — очень мило. А я нахожу, что очень скверно».

Друзья Чернышевского очень хорошо понимали, о чем в данном случае идет речь у Толстого и что̀ именно не нравится графу в облике Чернышевского и его соратников.

Некрасов, находившийся под прямым влиянием Чернышевского и Добролюбова, отвечал Толстому:

«Я стал бы на колени перед человеком, который бы лопнул от искренней злости, — у нас мало ли к ней повода! Когда мы начнем больше злиться, тогда будем лучше, то есть больше будем любить — любить не себя, а свою родину».

Тургенев, который больше Толстого разбирался в то время в политических вопросах, в своей оценке Чернышевского уже ближе подходит к действительному ядру столкновения. Мы уже приводили его слова:

«Книгу Чернышевского, — речь идет о диссертации Чернышевского, — эту гнусную мертветчину, порождение злобной тупости и слепоты, — не так бы следовало разобрать... Подобное направление гибельно... Это хуже, чем дурная книга, — это дурной поступок».

Немного позже Тургенев говорил о Чернышевском и Добролюбове:

«Эти господа — литературные Робеспьеры. Тот тоже не задумался ни минуты отрубить голову поэту Шенье» [110].

Эти слова Тургенева подводят нас уже совсем близко к оценке существа разногласий, обусловивших беспредельно злобное отношение Тургеневых и Толстых к Чернышевскому. Эту суть выразил в том же 1861 году Катков, числившийся тогда еще в либеральном лагере и редактировавший журнал, в котором охотно печатались и Тургенев, и Толстой.

«Вы не бьете, — писал Катков, обращаясь к Чернышевскому, — не жжете. Еще бы! Вам бы руки связали... Но законы природы одни и те же в большом и малом. Вы не колотите, не жжете, но в пределах вашей возможности делаете то, что вполне соответствует этим актам; в вас те же инстинкты, которые при других размерах, на другом поприще выразились бы во всякого рода насильственных действиях. Что можете, то вы и делаете».

Иначе говоря: вы — революционер, которому только царский обруч связывает руки.

Профессор Никитенко в то же время выражал сожаление, что либеральные изобличения Чернышевского «касаются больше литературной стороны критикуемых статей, нежели их духа и направления. Впрочем трудно и требовать другого способа изобличения от умеренно-либеральных журналов, потому что в таком случае они должны поднять щекотливые вопросы о предметах, священных в религиозном и нравственном отношении или важных в политическом смысле».

Как видим, либеральная среда отдавала себе достаточно точный отчет в том, что именно вызывает их ненависть в проповеди Чернышевского. Тот же Никитенко записал еще за несколько месяцев до ареста Чернышевского:

«Взят и великий *проповедник социализма и материализма* — Чернышевский».

А когда Чернышевский был действительно арестован, один из «чистейших и правоверных людей 40-х годов», участник кружка Белинского и Герцена, для которого «немецкая философия и Шекспир продолжали быть высшими откровениями всемирного смысла» (характеристика Владимира Соловьева), отвечал на сомнения историка Соловьева в закономерности ареста Чернышевского:

«Как вы странно рассуждаете, ну какие тут доказательства?!.. И какая у вас черная неблагодарность. Вас избавили от зловредного человека, который чуть-чуть не запер вас в какую-то фаланстерию, а вы требует каких-то доказательств».

Кавелин в те же дни писал Герцену:

«Аресты меня не удивляют и, признаюсь тебе, не кажутся возмутительными. Это война: кто кого одолеет... Такого брульона, бестактного и самонадеянного человека я никогда еще не видел. И было бы за что погибать».

Круг завершился. Между чувствами сознательного защитника интересов крепостников и корреспондента шефа жандармов и чувствами лучших представителей дворянской либеральной интеллигенции по отношению к проповеднику крестьянской революции не оказалось никакой разницы.

Одни требовали ареста Чернышевского ради охраны своих поместий и владельческих прав; другие находили этог

арест естественным и не испытывали по поводу его по отношению к правительству ничего, кроме благодарности.

Так споры об искусстве, эстетических и философских направлениях были переведены на язык голых классовых отношений.

Чувства дворянской среды к Чернышевскому были устойчивы. Уже в 80-х годах Б. Чичерин, ученейший русский гегельянец и консервативнейший дворянин-помещик, говорил:

«Было время, когда Россия стояла на здоровом и многообещающем пути: это были первые годы царствования Александра II. Но потом началось революционное брожение и все спуталось, и так идет до сего дня. *Всему виновник Чернышевский: это он привил революционный яд к нашей жизни*».

3

Гораздо выше той либерально-дворянской среды, отношение которой к Чернышевскому мы рассмотрели, по своему политическому чутью и политическому опыту стоял Герцен. Но и в его отношении к деятельности Чернышевского нет ничего, кроме раздражения и инстинктивного отталкивания, причины которого нетрудно рассмотреть в самой социально-политической программе Герцена.

Как только для Герцена выяснилось общее направление деятельности Чернышевского, Добролюбова и их кружка, он открыто напал на них за то, что они беспощадно осмеивали мелкотравчатый либерализм тогдашней оппозиционной литературы.

Для Герцена это нападение революционеров на либералов было «отвратительно и гадко». Его статья против Чернышевского и Добролюбова называлась «Очень опасно!» и оканчивалась скверным, но — увы! — столько раз впоследствии повторявшимся намеком на то, что революционеры, борясь с либералами, служат реакции. Начатая Чернышевским борьба с половинчатым и трусливым либерализмом казалась Герцену «скользкой дорогой», по которой можно «досвистаться не только до Булгарина и Греча, но и до Станислава на шее».

Иначе говоря Герцен прозрел в единственных подлинных революционерах своей эпохи чуть ли не наймитов царизма. Нетрудно вспомнить из истории последующего ре-

волюционного движения такие же попытки либеральной и мелкобуржуазной мысли очернить подлинных революционеров обвинением в служении интересам господствующих классов.

В 1860 году кружок Чернышевского сделал попытку выяснить Герцену истинное положение дела. Письмо в «Колокол», написанное если не лично Чернышевским, то несомненно одним из его политических друзей и отражающее взгляды его группы *, говорило:

«Помещики-либералы, либералы-профессора, либералы-литераторы убаюкивают вас надеждами на прогрессивность стремлений нашего правительства. Но не все же в России обманываются призраками... Крестьяне и либералы идут в разные стороны. Крестьяне, которых помещики тиранят теперь с каким-то особенным ожесточением, готовы с отчаянием взяться за топор, а либералы проповедуют в эту пору умеренность, исторический постепенный прогресс и кто их знает, что еще... Не увлекайтесь толками о нашем прогрессе, мы все еще стоим на одном месте; во время великого крестьянского вопроса нам дали на потеху, для развлечения нашего внимания безыменную гласность, но чуть дело коснется дела, тотчас прихлопнут... Нет, не убаюкивайтесь надеждами и не вводите в заблуждение других. Не отнимайте энергию, когда она многим пригодилась бы... Нет, наше положение ужасно, невыносимо *и только топор может нас избавить и ничто, кроме топора не поможет!* Эту мысль уж вам кажется высказывали и оно удивительно верно, — *другого спасения нет*. Вы все сделали, что могли, чтобы содействовать мирному решению дела. Перемените же тон, и пусть ваш «Колокол» благовестит не к молебну, а звонит в набат! К топору зовите Русь. Помните, что сотни лет губит Русь вера в добрые намерения царя» [120].

Вопрос был поставлен прямо. Герцен отвечал тоже достаточно ясно:

«К топору, к этому последнему доводу притесненных, мы звать не будем до тех пор, пока останется хоть одна разумная надежда на развязку без топора... Где же у нас та среда, которую надо вырубать топором?.. Мы за какими-то картонными драконами не видели, как у нас развя-

* Принадлежность Чернышевскому данного письма документально не установлена. Исследователи расходятся во мнениях. Я лично думаю, что письмо принадлежит Чернышевскому и что свидетельство об этом А. Слепцова неопровержимо.

заны руки. Я не знаю в истории примера, чтобы народ с меньшим грузом переправился на другой берег.

«К метлам» надо кричать, а не «к топорам»... Кто же в последнее время сделал что-нибудь путное для России, кроме государя? Отдадим и тут кесарю кесарево» [121].

Герцен стоял за реформу. Чернышевский — за народную революцию. Герцен боялся народной революции; Чернышевский в подготовке ее видел единственное достойное применение сил действительных сторонников освобождения крестьян. Немудрено, что Чернышевский и его друзья казались Герцену «*слишком угрюмыми*», хотя поистине неведомо, чему было радоваться Чернышевскому, наблюдая либеральное издевательство над народными интересами.

Через несколько месяцев после цитированного обмена политическими письмами Герцен попытался в статье «Лишние люди и желчевики» (в которой под лишними людьми подразумеваются либералы 40-х годов, а под желчевиками — революционеры типа Чернышевского) дать художественное воспроизведение коллективного лица тогдашних революционеров. Художественная наблюдательность Герцена помогла ему запечатлеть в этом портрете некоторые действительно характерные черты кружка Чернышевского.

«Первое, что нас поразило в них, — писал Герцен, — это легкость, с которой они отчаивались во всем (то есть в либеральных надеждах на царскую волю и на действительное сочувствие либералов освобождаемому крестьянству. — *Л. К.*), *злая радость их отрицания и их страшная беспощадность*... Тоном своим они могут довести ангела до драки и святого до проклятия».

Мы видели уже, что «святые» дворянского либерализма и «ангелы» мирного преуспеяния действительно проклинали Чернышевского и готовы были засучить рукава, чтобы... руками жандармов вести с ним драку.

Статья Герцена была в тон всем врагам программы Чернышевского. Тургенев от имени всего либерального лагеря прислал Герцену свое «Спасибо! — и за нас, низших, заступился».

Зато и либерализм владельческих классов, больше всего трепетавший революционного пути и пробуждения народных масс, казался Чернышевскому «мелким, презренным, отвратительным для всякого умного человека; для умного радикала таким же отвратительным, как и для умного консерватора; пустым, сплетническим, подлым и глупым ли-

бералъничаньем». Он считал себя чужим, не имеющим ничего общего с этой средой.

Это отношение к своим либеральным противникам Чернышевский сохранил на всю жизнь. Эта была часть, и очень важная, неотделимая часть его политической программы.

Уже в 1883 году, вернувшись из двадцатилетней каторги и ссылки, на просьбу А. Н. Пыпина написать свои воспоминания о выдающихся литераторах его времени Чернышевский писал:

«Я был, во-первых, человек, заваленный работою; во-вторых, они все вели обыкновенный образ жизни людей образованного общества, а я был чужд привычки и склонности к этому, и их жизнь была чужда мне; в-третьих, я имел понятия, которым не сочувствовали они, а я не сочувствовал их понятиям. *По всему этому я был чужой им, они были чужие мне*» [122].

Уклоняясь от просьбы написать свои воспоминания, Чернышевский писал в том же письме:

«Видишь ли, у меня не совсем такой характер, как у тебя. Ты любишь сдерживать себя, а я не охотник щадить то, что не нравится мне, когда речь идет о вопросах науки или литературы или чего-нибудь такого не личного, а общего. Поэтому я далеко не такого высокого мнения о некоторых из поэтов и беллетристов моего времени [речь шла о Тургеневе, Толстом, Островском, Гончарове и т. д.— *Л. К.*], как люди более мягкого характера. По-своему, я сужу о них совершенно добродушно. Но они мелкие люди, кажется мне. И совершенно добродушно высказываемое о них мнение человека, считающего их мелкими людьми, должно казаться жестким большинству публики, привыкшему считать их крупными людьми».

О своем отношении к Герцену уже в 1856 году, то есть когда Герцен стоял еще на вершине своей славы и представлял действительно самое боевое, самое передовое направление русской политической мысли, Чернышевский писал, что он «уж тогда имел образ мыслей не совсем одинаковый с понятиями Герцена и, сохраняя уважение к нему, уже не интересовался его новыми произведениями» [123].

А после личного свидания с Герценом, ради которого Чернышевский совершил поездку в Лондон, он писал Добролюбову, что Герцен произвел на него впечатление лишь

«Кавелина [то есть самого дюжинного либерала. — *Л. К.*] в квадрате»[124].

«Авторитет Герцена, — писал впоследствии Чернышевский, — был всемогущ над мнениями массы людей с обыкновенными либеральными тенденциями, то есть тенденциями смутными и шаткими».

Переходя к характеристике Тургенева, Чернышевский продолжал:

«Тургенев ничем не выделялся по своему образу мыслей из толпы людей благонамеренных, но не имеющих силы ни ходить, ни стоять на своих ногах, вечно нуждающихся в поддержке и руководстве... Нет никакой возможности сомневаться в том, что каждый раз, когда я говорил Некрасову о Тургеневе, все было говорено тоном пренебрежения и насмешки над ним... Не могу сомневаться, что от насмешек над Тургеневым, я переходил к сарказмам над Некрасовым за то, что он так долго был дружен с Тургеневым»[125].

Этого, пожалуй, достаточно для того, чтобы дать представление о глубине не только политического и социального, но и личного расхождения между такими людьми, как Чернышевский и Добролюбов с одной стороны, и лучшие представители культуры господствовавшего класса — с другой.

4

Мы уже цитировали письмо Кавелина Герцену от 6 апреля 1862 года. Приходится повторить этот символ веры врагов Чернышевского.

«Не знаю, что вы скажете, а эта игра в конституцию меня пугает так, что я ни о чем другом и думать не могу. Разбесят дворяне мужиков до последней крайности... и пойдет потеха. Это ближе и возможнее, чем кажется. Наше историческое развитие страшно похоже на французское: не дай бог, чтобы результаты его были так же похожи... Я скоро буду всеми силами стоять за существующий беспорядок, то есть за все реформы, но против конституции. *Дурачье не понимает, что ходит на угольях, которых не нужно расшевеливать, чтобы не вспыхнули и не произвели взрыва...* Я счел бы себя бесчестным человеком, если бы советовал барину, попу, мужику, офицеру, студенту ускорять процесс разложения обветшалых исторических общественных форм...»

Вся история русского либерализма умещается в формулу Кавелина. В 1905—1917 годах Милюковы только повторяли эту формулу, а когда угли революционной борьбы, несмотря на все их противодействие, несмотря на их прямой союз с царизмом и крепостничеством, все-таки разгорелись, они бросились тушить их потоками народной крови в союзе с иностранными военными штабами. Полустолетняя история русского помещичьего и буржуазного либерализма целиком и полностью оправдывает отношение к нему Чернышевского. И всякий раз, когда мысль революционных кругов делала уступку либерализму или искала союза с ним, это было признаком ее измены подлинным интересам народа и вместе с тем изменою заветам Чернышевского. Клеймо этих измен лежит и на мелкобуржуазном народничестве 80-х и последующих годов, которое в своих постоянных колебаниях между либерализмом и революционной борьбой никогда уже не могло подняться до подлинной революционности Чернышевского.

То выделение революционно-демократического движения из обще-либерального освободительного движения, то освобождение трудящихся масс России от влияния либерально-буржуазной идеологии, над которым в течение десятилетий работал большевизм и которое являлось необходимым предварительным условием победы Октябрьской революции, было начато Чернышевским.

Вот почему Ленин во всей героической плеяде русских революционеров до-пролетарского периода чувствовал Чернышевского наиболее «своим», неоднократно напоминал его заветы и возвращался к его постановке некоторых основных проблем русского революционного движения.

Исхода из тупиков, в которые вели страну крепостничество и либерализм, Чернышевский искал *в крестьянской войне*. К революционной самодеятельности крестьянских масс он и апеллировал. Ни к какой другой силе в аграрной России 60-х годов подлинный революционер и социалист и не мог апеллировать. Но в этом и заключалась Ахиллесова пята политической деятельности Чернышевского, источник его утопизма.

Крестьянская масса сама по себе, без содействия и руководства пролетариата не могла осуществить программы Чернышевского. Осуществленная же одним крестьянством, она бы дала не социалистический строй, к которому стремился Чернышевский, а лишь предпосылки широкого раз-

вития последовательной буржуазной демократии. Социально-политической природы крестьянства Чернышевский не понял. Но это было не результатом ограниченности его способностей или узости его программы, а результатом ограниченности и узости тех социальных отношений, в среде которых приходилось действовать Чернышевскому.

«От его сочинений веет духом классовой борьбы, — писал Ленин, вспоминая Чернышевского накануне империалистической войны, в 1914 году. — Он резко проводил ту линию разоблачения измен либерализма, которая доныне ненавистна кадетам и ликвидаторам. Он был замечательно глубоким критиком капитализма, несмотря на свой утопический социализм»[126].

Именно поэтому в борьбе за крестьянскую революцию, в борьбе против крепостничества и царизма, в борьбе против дворянского и буржуазного либерализма, в борьбе за материалистическую философию и социализм. Чернышевский больше, чем кто-либо другой из революционеров допролетарской эпохи, был предшественником той партии, которая вела и привела рабчих и крестьян России к полному освобождению и от крепостничества, и от капитализма.

С 1860 года арест Чернышевского носился в воздухе, нависал, становился неизбежен. «С лета прошлого года носились слухи, что я ныне-завтра буду арестован. С начала нынешнего года я слышал это каждый день», — писал из тюрьмы Чернышевский. Ему представлялась возможность уехать за границу или в провинцию. Он остался на своем посту.

VII. ВОЕННОПЛЕННЫЙ

Чернышевский был арестован в ночь с 6 на 7 июля 1862 года. По личному распоряжению Александра II он был посажен в Алексеевский равелин Петропавловской крепости. В этой одиночке Чернышевский просидел 678 дней, почти два года — до 20 мая 1864 года, когда был отправлен на каторгу. Через несколько дней после ареста Чернышевскому исполнилось 34 года.

Дело его должно было рассматриваться «высочайше утвержденной следственной комиссией», во главе которой стоял кн. А. Ф. Голицын. Ее членами состояли начальник III отделения А. Л. Потапов и генералы Огарев, Анненков и Дренякин, усмиритель бездинского восстания.

Задача была ясна. Чернышевского надо было устранить. Идейного знаменоносца революции надо было убрать с исторической арены, вычеркнуть из числа реальных действующих сил. Но как? Действовать путем административных мер было очень неудобно. Чернышевский был для этого слишком крупной, слишком видной, слишком выделяющейся фигурой. Решено было действовать судебным порядком. Это решение было лицемерной данью реакции «прогрессу». Правительство «освобождения крестьян» хотело бы расправиться с вождем крестьянской революции «законным» порядком. Акт классовой самозащиты и классовой мести должен был принять формы «правосудия».

Но путь судебной расправы требовал некоторых формальностей, прежде всего формальных улик, наличия хотя бы каких-либо *фактов*, упоминающихся в кодексах о преступлениях. А с этим дело для обвинителей Чернышевского обстояло плохо.

Чернышевский был, несомненно, — враг, враг решительный и смелый, но враг, действовавший осмотрительно и

обдуманно. Против этого врага у правительства не было никаких улик. Арест был произведен по обвинению в сношениях с «лондонскими эмигрантами», то есть Герценом и Огаревым. Но именно этот-то пункт обвинения и был отвергнут впоследствии судом, приговорившим Чернышевского к каторге. Почти 5 месяцев Чернышевского держали в тюрьме без допроса и предъявления обвинения. Наконец, 30 октября он впервые был вызван в следственную комиссию. Последняя предъявила ему то же обвинение в сношениях с Лондоном. Чернышевский легко опроверг его. Допрос продолжался 10 минут. Последовал новый перерыв на 4½ месяца. Комиссии нечего было предъявить арестованному. Сам же арестованный был твердо уверен, что никаких конкретных материалов для привлечения его к суду у правительства нет и быть не может.

Вступая на путь политической борьбы, Чернышевский прекрасно изучил своего врага, его оружие самозащиты и нападения. Он был в тысячу раз умнее всех своих врагов. Он превосходно знал технику революционного дела и вел его хладнокровно, обдуманно, без срывов и излишней горячности. Он принимал все необходимые меры для того, чтобы не оказаться в плену у врага преждевременно и с грузом улик против себя. Он твердо решил выступить в решительный момент открыто, с развернутым знаменем, но столь же твердо было его решение ничем не облегчать своим врагам их задачи преждевременно прервать его деятельность. Он мог поэтому быть совершенно уверен, что, даже решившись на арест, правительство не сможет предъявить ни ему, ни общественному мнению ни одного уличающего его документа. Так это и было на самом деле. Подобных документов не было у правительства ни в момент ареста Чернышевского, ни после того, ни в момент суда, ни в момент вынесения приговора. Чернышевский мог с полным правом писать из крепости, требуя своего освобождения, что против него «не существует *и не может* существовать никаких улик в поступках или замыслах, враждебных правительству» (письмо к петербургскому генерал-губернатору, кн. Суворову от 20 ноября 1862 года [127]). Лучше всего эта уверенность Чернышевского в бессилии правительства предъявить к нему какие-либо *улики*, достаточные для суда, выражена в его письме к жене от 7 декабря 1862 года. Это замечательный психологический документ. Привожу его:

«Когда ты уезжала, я говорил тебе по поводу слухов, беспрестанно разносившихся о моем арестовании: «Не полагаю, чтобы меня арестовали; но если арестуют, знай вперед, что из этого ничего не выйдет, кроме того, что напрасно компрометируют правительство опрометчивым арестом, в котором должны будут извиняться, потому что я не только не запутан ни в какое дело, но и нет возможности запутать меня в какое бы то ни было». Эти слова мои верны, и я себе теперь поясню их результатами, какие вышли наружу, — вероятно, не для одного Петербурга, но и для европейской публики моя история, конечно, уже разгласилась, потому можешь и ты знать ее.

Почему я полагал, что меня не арестуют? Потому, что я знал, что за мною следили, и хвалились, что за мною следят очень хорошо. Я имел глупость положиться на эту похвальбу. Мой расчет был: если хорошо будут знать, как я живу и что я делаю, чего не делаю, то подозрение против меня уничтожится, — и кто подозревал, те убедятся, что напрасно смешивали меня с людьми, которые запутываются или могут быть запутаны в так называемые «политические преступления». Я сказал, что этот мой расчет на справедливость похвальбы хорошим наблюдением за мною, — был глуп. Он был глуп потому, что я знал, что у нас ничего не умеют сделать как следует, какое же право имел я делать свой случай исключением из правила, — верить, что за мною следят как следует? Мой арест показал мне, что вместо того, чтобы действительно следить за мною, просто без разбора собирали пустые слухи и верили всяким вздорам, — что у нас не редкость. Таким образом, неумение наших агентов политической полиции исполнять свои обязанности разрушило первое из двух положений, из которых одно необходимо должно было быть верным, потому что не было никакой возможности для третьего случая, кроме двух единственно возможных, обнимаемых моими предположениями. Таким образом, осуществилось второе из этих предположений: моим арестованием компрометировали правительство. Арестовали — и подумали: «в чем же мы будем обвинять его?» — у нас это часто бывает: сперва сделают, а потом подумают, как разделаться с тем, что сделали, — обвинений против меня не оказалось, когда вздумали, что ведь нужно же посмотреть, есть ли обвинения против меня. Что тут было делать? Человек арестован, а обвинений против него нет, ведь это, что назы-

вается, казус. Вот над этим казусом думали четыре месяца. Я сидел арестованный, — читал, курил, спал, потом: читал, переводил, курил и спал, иногда скучал, а больше даже и не скучал, а покачивал головой и улыбался, а там все думали, думали, — пришли наконец к заключению: «скверный казус, обвинений нет как нет, да и только». — Теперь вот месяц думают над этим выводом, — как тут быть, как поправить этот скверный казус, что арестовали человека, против которого нельзя найти никаких обвинений, — я читаю, перевожу, курю, сплю, а там думают: сколько ни думай, нельзя ничего другого придумать, как только то, что надобно извиниться перед этим человеком,— это бы, пожалуй, еще и не тяжело сделать, — но что, если он не примет извинения, а (скажет) у меня против вас есть, и очень важное, обвинение: вы компрометировали правительство, и моя обязанность объяснить правительству, что его интересы требуют, чтобы оно защищало себя от людей, его компрометирующих, — ну, что если я скажу такие слова в ответ на извинения? Согласись, что слышать такие слова неприятно тем, к кому они будут относиться. Тебе известно, что всякий старается по возможности отдалить неприятность — вот поэтому теперь и медлят моим освобождением. Но это не может длиться много времени — правительство спрашивает по временам: ну, что же, какие обвинения найдены против Черн.? — нельзя же долго отмалчиваться от правительства, и надобно будет сказать: «Мы против него не нашли обвинения, а у него есть обвинения против нас». Вот теперь я и жду, когда правительство добьется этого ответа, единственного возможного ответа, от тех, которые должны отвечать правительству за мой напрасный арест.

Вот и вся история. По всей вероятности, развязка ее уже очень недалеко. До свиданья же» [128].

Расчет, руководивший Чернышевским при составлении этого письма, ясен. Оно было рассчитано не на жену. Это была угроза инициаторам ареста, предупреждение о неизбежном провале их затей. Логика документа кажется несокрушимой. Она подействовала на тех, кому была адресована. Начальник III отделения, А. Л. Потапов, отправляя копию этого письма выше, своему шефу, кн. В. А. Долгорукову и шефу своего шефа, Александру II, поспешил приписать к письму: «Он ошибается: извиняться никому не придется».

Потапов тактикой Чернышевского был прижат к стене: у него действительно не было никаких улик. Но «извиниться» перед Чернышевским, освободить его — означало бы «извинение» контрреволюции перед революцией, уступку первой второй. Это бывает в истории. Но это неизменно обозначает слабость реакции и растущую силу революции. В один из подобных моментов прусский король снял шапку перед трупами павших на баррикадах бойцов. В 1862 году романовская монархия не была еще так слаба, а русская революция так сильна. Освобождение Чернышевского могло бы значительно усилить последнюю. Но для этого было мало несокрушимой логики и издевательского по отношению к своим тюремщикам тона мужественного узника Петропавловской крепости. Нужны были массовые силы, а их еще не было. У Потаповых не было улик. Это не означало, что они сдадутся. Это обозначало только, что они их *создадут*. Этого-то и не учел Чернышевский. Он не предвидел, что отсутствующие против него улики будут *сфабрикованы*. А именно эти «фальшивки» и имел в виду Потапов, когда писал: «Он ошибается: извиняться не придется».

Самая механика создания «фальшивок» мало интересна. На периферии литературно-революционной богемы того времени был разыскан мелкий себялюбец и большой негодяй, В. Д. Костомаров. Он был прикосновенен к литературным кругам, как переводчик, и был привлечен по делу о подпольных типографиях в Москве. Его купили деньгами, угрозами, посулами. Его обрабатывали лично известный сыщик, русский «Пинкертон» Путилин и начальник III отделения Потапов, а вопросы о его вознаграждении за поставку фальшивок решал сам Александр II (в делах сохранился ряд собственноручных резолюций Александра, в которых он — довольно скупо — определяет цену уже совершенным предательствам Костомарова и намечает дополнительные ассигновки за будущие услуги его по делу Чернышевского). Костомаров имел прикосновение к намечавшемуся печатанию прокламации «К барским крестьянам». Он получил эту прокламацию в копии, переписанной рукой М. Л. Михайлова, и долго был уверен, что последний является ее автором. После переговоров с Путилиным и Потаповым Костомаров стал твердо «удостоверять», что прокламация написана именно Чернышевским и им же лично передана ему для печати, и в подтверждение этого *под-*

делал два «собственноручных» документа Чернышевского: записку, будто адресованную Чернышевским ему, Костомарову, и письмо, будто бы написанное Чернышевским А. Н. Плещееву. Когда Потапов писал царю и Долгорукову, что «извиняться не придется», он знал, что Костомаров уже согласился оказать правосудию необходимую услугу. Все детали показания Костомарова и изготовленных им фальшивок были подробно и многократно обсуждены Потаповым с шефом жандармов кн. Долгоруковым и с председателем следственной комиссии кн. Голицыным; Александр II держался в курсе дела и был посвящен во все детали подготовлявшегося процесса. Ему сообщалось все, вплоть до подробностей, как, например, то, из какого именно города (из Тулы) пошлет Костомаров заранее заготовленное в III отделении письмо, которое должно «изобличить» Чернышевского. На эту «кухню» и ушли те 8 месяцев, которые Чернышевский просидел почти без допросов и без предъявления мало-мальски серьезных обвинений.

Показания Костомарова и одна из заготовленных им фальшивок были предъявлены ему 16 марта 1863 года. Чернышевский сразу понял, что дело его, по существу, кончено и судьба предрешена. Против юридического убийства, в осуществлении которого принимал участие весь аппарат правительственной власти от царя до сыщика Путилина, апеллировать было некуда и незачем. С этого момента Чернышевский — и в частных письма, и в официальных заявлениях — снимает вопрос о соблюдении в своем деле «закона», об «уликах» и о своем освобождении. Он опровергает, конечно, слово за словом показания Костомарова и настаивает на поддельности его «документов». «Сколько бы меня не держали, я поседею, умру, но прежнего своего показания не изменю» — заявляет он комиссии. Но он уже не питает никаких надежд и хладнокровно ждет завершения комедии суда, разыгрываемой «дикими невеждами сената и седыми злодеями государственного совета» под режиссурой царя и шефа жандармов. «Наша с тобой жизнь, — писал Чернышевский жене из крепости, — принадлежит истории; пройдут сотни лет, и наши имена все еще будут милы людям; и будут вспоминать о нас с благодарностью, когда уже забудут почти всех, кто жил в одно время с нами. Так надобно же нам не уронить себя со стороны бодрости характера перед людьми, которые будут изучать нашу жизнь» [129].

16 мая 1863 г. по личному распоряжению Александра II дело Чернышевского из следственной комисси было передано в сенат. Во главе судей стоял сенатор М. М. Карниолин-Пинский, еще во времена Николая I из мелких провинциальных чиновников ужом добравшийся до сенаторского кресла, прославленный своей скандальной и грязнейшей семейной историей, насквозь проплеванная чиновничья душа, через два года отправивший на виселицу Каракозова. Его окружение составляли сенаторы Лукаш, Бер, фон-Венцель, умственные и моральные ничтожества, о которых нечего сказать. Процесс велся по старым, дореформенным правилам, без участия подсудимого, без права его выступать устно со своими объяснениями, без участия защиты. Бумажное производство тянулось еще с полгода. Наконец, 7 февраля 1864 года приговор сената был подписан. Все фальшивки были признаны подлинными документами, все показания лжесвидетелей — заслуживающими полного доверия, все опровержения подсудимого — не заслуживающими внимания. Участие Чернышевского в «злоумышлении против правительства» и в «подготовке возмущения» было признано юридически доказанным. Но сенаторы не удержались на этом и выболтали в конце концов подлинную основу своего приговора.

В конце концов, дело и для них было не в фальшивках Костомарова, а в общем характере деятельности Чернышевского. Все статьи Чернышевского прошли через предварительное разрешение цензуры. За все время своей литературной деятельности Чернышевский не смог напечатать ни одной строки, которая заранее не была бы «одобрена к печати» чиновником, которому сие ведать надлежало. Но вот, что сенаторы написали в заключение своего приговора:

«Обращаясь к определению степени предлежащего Чернышевскому наказания, сенат находит что Чернышевский, будучи литератором и одним из главных сотрудников журнала «Современник», своею литературной деятельностью имел большое влияние на молодых людей, в коих со всею злою волею посредством сочинений своих развивал материалистические в крайних пределах и социалистические идеи, которыми проникнуты сочинения его, и, указывая в ниспровержении законного правительства и существующего порядка средства в осуществлению вышеупомянутых идей, был особенно вредным агитатором, и посему сенат

признает справедливым подвергнуть его строжайшему из наказаний, в 284 ст. поименованных, то есть, по 3-й степени, в мере, близкой к высшей, по упорному его запирательству, несмотря на несомненность доказательств, против него в деле имеющихся» [130].

Все это не значит, что сенаторы читали «Современник». Нет. Они просто вписали в свой приговор выводы двух «Обзоров литературной деятельности Н. Г. Чернышевского», которые были им доставлены и по личному приказу Александра II «приобщены к делу». Один из этих обзоров принадлежал упомянутому выше литератору и переводчику Гейне В. Д. Костомарову. Он проявил в ней значительную проницательность.

В ней доказывалось, что смысл литературной деятельности Чернышевского и руководимой им группы заключался в том, что они, «стараясь доказать несостоятельность всех отживших, всех существующих и всех вновь заводимых порядков, показали нам картину нового социального быта, идеал которого они видят в коммунизме». «Большая часть произведений... подметной литературы, — заключал Костомаров, — есть не что иное, как развитие, дополнение и пояснение идей, замаскированных или недоговоренных» в статьях Чернышевского. Посылая этот «разбор литературной деятельности Чернышевского» министру юстиции, шеф жандармов приписал, что он «может быть был бы прочтен не без пользы некоторыми господами-сенаторами» [131]. Сенаторы — или их секретари — не пренебрегли советам жандарма.

Вторая записка была составлена профессором Петербургского университета М. И. Касторским. Этот ученый муж заканчивал свое исследование следующим выводом: «В подметных прокламациях высказываются те же самые политико-экономические учения, которые развивал Чернышевский, с тою лишь разницею, что в прокламациях они не прикрыты ученою диалектикою, а являются в безыскусственной форме... Прокламации суть как бы вывод из статей Чернышевского, а статьи его — подробный к ним комментарий» [132].

Вот за это — за свои легальные, подцензурные статьи — и был осужден Чернышевский. Правда, Ленин сказал, что «своими подцензурными статьями Чернышевский умел воспитывать настоящих *революционеров*». В этом и была суть дела. Все остальное, что фигурировало на суде, было толь-

ко предлогом, попыткой, к тому же явно неудавшейся, обставить хоть бы убогими декорациями голый акт классовой расправы.

Чернышевский великолепно, конечно, отдавал себе в этом отчет. В своем опровержении обвинительного акта, составленного сенатскими секретарями, он прямо указал сенату, что последний продиктован «сословным раздражением той части дворян-землевладельцев, которая была недовольна освобождением крепостных крестьян» [133]. Понимали это и люди, окружавшие Чернышевского. Его двоюродная сестра, Е. Н. Пыпина писала 12 апреля 1864 года своей матери: «Против Николи существует такое же озлобление в петербургских аристократических кругах, как и в саратовских... Со всеми передовыми людьми всех стран повторялась его история. У нас на Руси, кажется, он первый возбудил *всю российскую знать и дворянство*» [134]. В подчеркнутых мною словах Пыпиной истинный обвинитель Чернышевского указан даже точнее, чем в смягченном по тактическим соображениям указании самого Чернышевского. Ибо в процессе Чернышевского действительным обвинителем — и одновременно судьей и палачом — была не та или иная часть дворянства, а именно *вся* российская знать и *все* дворянство, как противившееся «освобождению» крестьян, так и сочувствовавшее ему.

Уже много лет спустя после смерти Чернышевского, человек совсем другой культуры, чуждый и враждебный всем интересам и традициям Чернышевского, мистик и богослов, В. С. Соловьев дал меткую и исчерпывающую характеристику процесса Чернышевского.

«Назвать его [дело Чернышевского] «судебной ошибкой», — писал он, — было бы совсем не точно, так как для судебной ошибки необходимо, чтобы были две вещи: во-первых, суд, и, во-вторых, ошибка, то есть невольное заблуждение. Но в деле Чернышевского не было ни суда, ни ошибки, а было только заведомо неправое и насильственное деяние, с заранее составленным намерением. Было решено изъять человека из среды живых — и решение исполнено. Искали поводов, поводов не нашли, обошлись и без поводов» [135].

А сам Чернышевский? — 7 декабря 1863 года с ним имела свидание Е. Н. Пыпина. «Он, как всегда, покоен и весел; говорил, что ему странно, что у господ-сенаторов нехватает решимости подписать постановление, что ведь,

вероятно, не они выдумали его, следовательно, рассуждать им нечего»[186].

Сенат постановил: Николая Чернышевского 35 лет лишить всех прав состояния и сослать на каторжные работы в рудниках на 14 лет, а затем поселить в Сибири навсегда.

Государственный совет под председательством кн. П. П. Гагарина, главы партии крепостников, знаменитого автора знаменитых «нищенских наделов», при помощи которых ограблено было в 1861 году крестьянство, целиком подтвердил приговор сената. 7 апреля его утвердил Александр II, сократив до 7 лет срок каторжных работ. 4 мая приговор был объявлен Чернышевскому. 20 мая 1864 года на фельдегерской телеге, тайком от родных, он был вывезен из Петропавловской крепости и отправлен на каторгу. Русская революция стала на несколько голов ниже.

Перед отправкой на каторгу Чернышевский должен был подвергнуться обряду гражданской казни. Несколько свидетелей, затерявшихся в толпе, собравшейся 19 мая 1864 года на Мытнинской площади в Петербурге вокруг эшафота с позорным столбом, оставили описание этого дождливого петербургского утра, в которое контрреволюция торжествовала свою победу над пленным врагом. Победившая азиатчина праздновала ее в средневековой форме. Варварский обряд, наследие и воспоминание глухих времен кулачного права, едва ли не в последний раз в русской истории был вытащен на свет, чтобы закрепить победу дворян над вождем крестьянской революции.

Среди 2—2½-тысячной толпы, окружившей жандармское карре, отгораживавшее от нее эшафот, находились гвардейский офицер В. К. Гейнс, впоследствии Вильям Фрей, эмигрант и создатель новой «религии человечества», В. Я. Кокосов, тогда — студент-медик, впоследствии врач на Карийской каторге, М. П. Сажин, известный впоследствии бакунист. Они записали то, что видели. Вот рассказ Гейнса-Фрея:

«По мере приближения к толпе все более и более росло мое волнение. Наконец я на площади. Высокий черный столб с цепями, эстрада, окруженная солдатами, жандармы и городовые, поставленные друг возле друга, чтобы держать народ на благородной дистанции от столба. Множество людей, хорошо одетых, кареты, генералы, снующие взад и вперед хорошо одетые женщины, — все показывало, что происходит нечто чрезвычайное.

Какая-то старуха предложила мне скамейку... Публики набралось слишком много и мне уже приходилось стоять в третьем ряду.

Три четверти часа мне пришлось стоять на скамейке, дожидаясь приезда Чернышевского. Но для меня это время прошло быстро. Я жадно вглядывался во всякую подробность. Хозяйка моей скамейки стояла вместе со мной, рассказывала мне, как новичку, что будут делать с преступником. Показала саблю, заранее подпиленную и стоящую внизу эстрады. Заметила между прочим, что в прежние разы столб был гораздо ближе к народу, чем теперь...

Ряд грустных мыслей был прерван каким-то глухим шумом толпы. «Едут», — сказал старуха. «Смирно!», — раздалась команда, и вслед затем карета, окруженная жандармами с саблями наголо, подъехала к солдатам. Карета остановилась шагах в 50 от меня, я не хотел сойти со своей скамьи, но видел, что в этом месте толпа ринулась к карете, раздались крики «назад!»; жандармы начали теснить народ, вслед затем три человека пошли быстро по линии солдат к эстраде: это был Чернышевский и два палача. Раздались сдержанные крики передним: «уберите зонтики», и все замерло. На эстраду взошел какой-то полицейский. Скомандовали солдатам «на караул». Палач снял с Чернышевского фуражку, и затем началось чтение приговора. Чтение это продолжалось около четверти часа. Никто его не мог слышать. Сам же Чернышевский, знавший его еще прежде, менее, чем всякий другой, интересовался им. Он, повидимому, искал кого-то, беспрерывно обводя глазами всю толпу, потом кивнул в какую-то сторону раза три. Наконец, чтение кончилось. *Палачи опустили его на колени.* Сломали над головой саблю, и затем, поднявши его еще выше на несколько ступеней, взяли его руки в цепи, прикрепленные к столбу. В это время пошел очень сильный дождь, палач надел на него шапку. Чернышевский поблагодарил его, поправил фуражку, насколько позволяли ему его руки, и затем, заложивши руки в руку, спокойно ожидал конца этой процедуры. В толпе было мертвое молчание. Старуха, сошедшая со скамьи, беспрерывно задавала мне разные вопросы вроде таких: «В своем ли он платье или нет? Как он приехал, в карете ли или в телеге? Я беспрерывно душил свои слезы, чтобы можно было отвечать кое-как старухе. По окончании церемонии все ринулись к карете, прорвали линию городовых, схватившихся друг друга за ру-

ки, и только усилиями конных жандармов толпа была отделена от кареты. Тогда были брошены ему букеты цветов. Одну женщину, кинувшую цветы, арестовали...

Карета повернула назад и по обыкновению всех поездок с арестантами пошла шагом. Этим воспользовались многие желающие видеть его вблизи; кучки людей человек в 10 догнали карету и пошли рядом с ней. Нужен был какой-нибудь сигнал для того, чтобы совершилась овация. Этот сигнал подал один молодой офицер; сняв фуражку он крикнул: «Прощай, Чернышевский!» Этот крик был немедленно поддержан другими и потом сменился еще более колким словом «до свидания». Он слышал этот крик и, выглянувши из окна, весьма мило отвечал поклонами. Этот же крик был услышан толпою, находящейся сзади. Все ринулись догонять карету и присоединиться к кричащим. Положение полиции было затруднительное, но на этот раз она поступила весьма благоразумно и против своего обыкновения не арестовала публику, а решилась попросту удалиться. Было скомандовано «рысью!», и вся эта процессия с шумом и грохотом начала удаляться от толпы. Впрочем, та куча которая была возле, еще некоторое время бежала, возле еще продолжались крики и махание платками и фуражками. Лавочники (ехали мимо рынка) с изумлением смотрели на необыкновенное для них событие. Чернышевский ранее других понял, что эта куча горячих голов, раз только отделится от толпы, будет немедленно арестована. Поклонившись еще раз, с самою веселою улыбкою (видно было, что он уезжал в хорошем настроении духа), он погрозил пальцем. Толпа начала мало по малу расходиться, но некоторые, нанявши извозчиков, поехали следом за каретой. Говорят, что все были потом арестованы. Я повернул в другую сторону»[137].

Кокосов записал:

«Он казался выше среднего роста с довольно широкими плечами и широкой грудью, с бледным, сухощавым лицом, белым широким лбом и длинными густыми волосами, закинутыми назад, с клинообразной бородой и очками на носу. Особенность его лица, бросавшаяся в глаза и запечатлевшаяся в памяти, — ширина лобной части лица по сравнению с нижней лицевой частью, так что лицо казалось суженным книзу... Вся процедура «шельмования» тянулась с момента появления Чернышевского на эшафоте до увоза его обрат-

но не более 15—20 минут: все совершалось торопливо и как бы опасливо»[138].

Сажин запомнил: «Палач вынул руки Чернышевского из колец цепи, поставил его на середине помоста, быстро и грубо сорвал с него шапку, бросил ее на пол, а Чернышевского поставил на колени, затем взял шпагу, переломил ее над головой Николая Гавриловича и обломки бросил в разные стороны. После этого Чернышевский встал на ноги, поднял свою шапку и надел на голову. Палачи подхватили его под руки и свели с эшафота»[139].

Таки почти буквально исполнилось слово Некрасова о Чернышевском:

Но час придет — он будет на кресте...

Это — строка из стихотворения, которым поэт откликнулся на трагедию Чернышевского и революции:

Не говори: «Забыл он осторожность!
Он будет сам судьбы своей виной!..»
Не хуже нас он видит невозможность
Служить добру, не жертвуя собой.
Но любит он возвышенней и шире,
В его душе нет помыслов мирских.
«Жить для себя возможно только в мире,
Но умереть возможно для других!» —
Так мыслит он — и смерть ему любезна.
Не скажет он, что жизнь его нужна.
Не скажет он, что гибель бесполезна:
Его судьба давно ему ясна...
. . . . . .
Его еще покаместь не распяли,
Но час придет — он будет на кресте...

Но эти стихи смогли появиться в печати — и то в изуродованном виде — лишь через 14 лет (в 1877 году в «Отечественных записках» — без последней строфы и с ложной ссылкой, что стихотворение — переводное).

Своевременно мог откликнуться лишь единственный тогда орган свободного слова—заграничный «*Колокол*». «Чернышевский, — писал в нем Герцен, — осужден на 7 лет каторжных работ и на вечное поселение. Да падет проклятием это безмерное злодейство на правительство, на общество, на подлую, подкупную журналистику... Она приучила правительство к убийствам военнопленных в Польше, а в России к утверждению сентенций диких невежд сената и седых злодеев государственного совета... А тут жалкие люди, люди-трава, люди-слизняки говорят, что не следует бра-

нить эту шайку разбойников и негодяев, которые управляют нами!.. Чернышевский был вами выставлен к столбу на четверть часа, — а вы, а Россия насколько лет останетесь привязанными к нему?

Проклятие вам, проклятие и если возможно — месть!» [140].

Это было проклятие палачам Чернышевского от имени лучших представителей старого поколения, от имени политических противников Чернышевского.

Через несколько недель на страницах того же «*Колокола*» высказался представитель молодого поколения. Варфоломей Зайцев писал здесь:

«Четверть часа у позорного столба никого не устрашит, никого не победит: оно только зовет людей и будит в них энергию, но уже не четвертьчасовую, а неусыпную, на долгие годы борьбы. Наша скорбь о Чернышевском выше минутно торжествующей насмешки его врагов. Пусть нет у русского юношества лучшего его учителя; но его учение не могло пропасть даром! Мы горды дорогим правом звать себя его *учениками*, воспитанниками его *школы;* мы горды этим, потому что чувствуем, что можем служить народу хотя сотою долею его служения, и наше служение не будет бесплодно... — Сомкнись же, русская молодежь, сомкнись в тесный, дружный строй! не разрывай своих рядов и работай. Я повторяю его слова... «Будущее светло и прекрасно. Любите его, стремитесь к нему, работайте для него, приближайте его...» [141].

Призыв Чернышевского к будущему недаром впервые после его осуждения был повторен со страниц зарубежного органа. С этого момента имя Чернышевского стало запретным в русской литературе. Но оно ушло в революционное подполье и продолжало жить там немолчным призывом к революционной массовой борьбе.

VIII. ЧУЖИМ ОРУЖИЕМ

Крепость, как затем каторга, не могла заставить молчать человека, который чувствовал себя «добрым учителем людей». Он рвался к читателю, к проповеди. Через три месяца после ареста, из крепости он писал жене... «У меня будет оставаться время для трудов, о которых я давно мечтал. Теперь планы этих трудов обдуманы окончательно. Я начну многотомную «Историю материальной и умственной жизни человечества», историю, какой до сих пор не было, потому что работы Гизо, Бокля (и Вико даже) деланы по слишком узкому плану и плохи в выполнении. За этим пойдет «Критический словарь идей и фактов», основанный на этой истории. Тут будут перебраны и разобраны все мысли обо всех важных вещах, и при каждом случае будет указываться истинная точка зрения. Это будет тоже многотомная работа. Наконец, на основании этих двух работ я составлю «Энциклопедию знания и жизни», — будет уже экстракт, небольшого объема, два-три тома, написанный так, чтобы быть понятным не одним ученым, как два предыдущих труда, а всей публике. Потом я тут же книгу переработаю в самом легком популярном духе, в виде почти романа, с анекдотами, сценами, остротами, так, чтоб ее читали все, кто не читает ничего, кроме романов... Чепуха в голове у людей, потому они и бедны и жалки, злы и несчастны, надобно разъяснить им, в чем истина и как следует им думать и жить. Со времени Аристотеля не было сделано никем того, что я хочу сделать, и буду я добрым учителем людей в течение веков, как был Аристотель» [142].

Это был грандиозный и, быть может, по существу, утопический план. Чернышевский пронес его через крепость, каторгу, ссылку и в самые тяжелые моменты не оставлял мысли о хотя бы частичном его осуществлении. Но из него

не осуществилось *ничего*, кроме отдельных, разбитых кирпичей, которые должны были пойти на верхний этаж.

Чернышевскому было 34 года в момент ареста. За предшествующие 7 лет работы (1855—1862) он напечатал 10 томов книг и статей, из которых длинный ряд были, по известному немецкому выражению, Epoche machend («эпохальными», делающими эпоху), а часть живы и сейчас («Антропологический принцип» — в философии, «Эстетические отношения» — в эстетике, «Очерки гоголевского периода» — в истории русской общественной мысли, политические обзоры — в истории Европы XIX в. и т. д.). За последние 27 лет (1862—1889) — кроме романа «Что делать?» — он смог напечатать лишь пару статей и... одно стихотворение. В этом была специфическая пытка, уготованная гиганту мысли, которой недаром в одном из сибирских писем своих спрашивал: «Всегда ли наилучшее место для жизни органического существа — его родина?» [143]. «Чорт догадал меня родиться в России с умом и талантом», воскликнул в свое время Пушкин.

Убедившись, что роль политического руководителя для него надолго, если не навсегда, заказана, Чернышевский мечтал, что ему удастся еще поработать для своего дела в качество ученого. На этом поприще он мог, действительно, явиться крупнейшей, выдающейся силой. Величайший из ученых его времени К. Маркс, ознакомившись лишь с частью его трудов, которые воплотили лишь часть того, что сделал и мог сделать Чернышевский, признал в нем «великого русского ученого и критика» (предисловие к «Капиталу»), говорил, что «из всех современных экономистов Чернышевский представляет единственного действительно оригинального мыслителя...», что его «сочинения полны оригинальности, силы и глубины мысли», что они «представляют единственные из современных произведений по этой науке, действительно заслуживающие прочтения и изучения» [144].

Мысль о крупном научном труде, критически перерабатывающем всю сумму накопленных человечеством знаний о себе и окружающем мире, не оставляла Чернышевского никогда. План его он составил в крепости, он работал над ним на каторге, знакомя с отдельными его частями своих товарищей в увлекательных рассказах об эпохах зарождения христианства, возрождения, реформации и т. д. В Вилюйске, в 1873 г., жандармский офицер, при обыске его

камеры обнаружил несколько вариантов «Очерков содержания всеобщей истории человечества». Издателю, заказавшему ему перевод «Всеобщей истории» Вебера, он пишет о планах, которые он лелеял, вернувшись из Сибири: «Я не имею прав выставлять на моих книгах мою фамилию. Имя Вебера должно было служить только прикрытием для трактата о всемирной истории, истинным автором которого был бы я. Зная размер своих ученых сил, я рассчитывал, что мой трактат будет переведен на немецкий, французский и английский языки и займет почетное место в каждой из литератур передовых наций» [145]. В 1888 году, накануне смерти, он задумывает переработку «Энциклопедического словаря» Брокгауза. (На русском языке этого словаря еще не было). «Это план огромного издания, — пишет он. — В моей переделке словарь Брокгауза стал бы таков, что следующие издания немецкого подлинника были бы переделываемы по моему русскому изданию» [146]. Он считал этот грандиозный научный замысел вполне по силам себе. «Я считаю себя имеющим силу содействовать переработке некоторых отделов науки», — писал он в эти дни и был, конечно, только справедлив к себе. С этой мечтой о научном творчестве Чернышевский сошел в могилу. Романовские тюремщики и русское «культурное» общество свели на-нет все планы Чернышевского о научной деятельности.

Оружие политика, публициста, ученого, было выбито из его рук. Если он хотел продолжать борьбу за влияние на человеческие умы, — а он хотел этого, — он должен был переменить оружие. Он не сдавался; он продолжал сражаться, но уже *чужим оружием*. Он пришел к мысли, что из крепости, с каторги, из ссылки, он мог бы, быть может, пробиться к читателю в виде беллетриста, и он заставил себя стать беллетристом. Он сделал себя беллетристом, как сделал бы себя химиком или генштабистом, если бы это потребовалось ходом дела, которому он посвятил всю жизнь.

Весной 1870 г. из каторжной тюрьмы, из которой он осенью надеялся — неосуществившаяся мечта! — выйти, Чернышевский писал своему родственнику и видному петербургскому литератору А. Н. Пыпину: «К осени устроюсь так, что буду иметь возможность наполнять книжки журнала, какой ты выберешь, своими работами. Нужнее и выгоднее для журнала, конечно, беллетристическая (читай: ничего, кроме беллетристики, мне, конечно, печатать не разрешат. — *Л. К.*]. Потому я и готовил больше всего в

этом роде... Например, нечто в роде арабских сказок и Декамерона по форме... Действие основного рассказа в Сицилии, потом в Соединенных Штатах, в Венесуэле, на островах Тихого океана. Поэтому можешь судить: совершенно невинно»[147].

Чернышевский был слишком крупен, чтобы не относиться чуть-чуть иронически и к самому своему превращению в беллетриста, и к этим Венесуэлам и островам Тихого океана, которых он никогда не видал и на которые пришлось переносить ему действие своих произведений. Усмешка над формой своей работы пропитывает всю его беллетристику. Но Чернышевский надеялся на свои силы. «Мне стало казаться, — писал он тому же Пыпину после первого же своего беллетристического опыта, — что у меня есть некоторый — очень второстепенный, в роде, положим, самого мелкого романиста из собственно романистов — беллетристический талант. Этого мне уже было бы довольно, чтобы писать вещи хорошие»[148].

Огромный ум, превосходное знание мировой литературы (Чернышевский читал на 10 языках и прочел основные класические произведения мировой литературы в подлинниках), прирожденный и воспитанный размышлением художественный вкус позволили Чернышевскому выполнить взятую на себя задачу. Но все же это было для него *чужое оружие*. В его беллетристическом наследии нельзя найти вещей безвкусных или заурядных. Но в общей своей массе — за исключением двух вещей, о которых ниже — они представляют не более как серию поучительных притч. Жесткий логический каркас и дидактическая направленность этих повестей и рассказов прощупываются слишком легко. От этого не спасет их ни великая изобретательность автора в пользовании самыми различными жанрами, ни его стремление заинтересовать читателя сложностью и загадочностью построения своих повествований, ни острота положенных обычно в основу последних ситуаций, ни смелость мысли при их разрешении. Несмотря на все это, иллюзию самостоятельной жизни выводимых им персонажей автору создать не удается. Читатель все время чувствует, что в этих рассказах люди живут не своей жизнью, а движутся и говорят по нарочитому заданию автора, лишь иллюстрируя собой логические схемы последнего. Сложность построения, загадочность интриги, чуждость и сказочность обстановки («Венесуэла», «Академия Лазурных гор»), которыми автор

пытается отделить себя от своих персонажей, начинают казаться обременительными аксессуарами, выступают слишком явно, как рассчитанные приемы, и хочется поскорее вышелушить из них тот силлогизм, ради которого возведена вся эта постройка. Да, беллетристика была для Чернышевского *чужим оружием*. «Мое честолюбие — не честолюбие романиста, — писал он в замечательном предисловии ко второму своему опыту в беллетристической форме, «Повести в повести»... — Я пишу романы, как тот мастеровой бьет камни на шоссе: для денег [читай: по необходимости, по невозможности иначе приложить свои силы. — *Л. К.*] исполняет работу, требуемую общественной пользой» [149].

Но и этим чужим оружием Чернышевский одержал одну, но зато блестящую, ни с чем не сравнимую победу. Этой победой было первое из написанных им в беллетристической форме произведений, роман «Что делать?». Им из Петропавловской крепости он дал — увы! — последний залп по враждебному ему миру отношений и идей, по ненавистному ему укладу жизни.

Роман самым непочтительным образом оспаривал тысячелетние предрассудки о природе человека и человеческих отношений (в частности в отношениях мужчины и женщины), был проникнут нескрываемым презрением к прошлому и великим энтузиазмом к будущему, был пронизан бодростью, оптимизмом, доверием к силе человеческого разума, рисовал идеи социалистического устройства общества, намечал тип «нового человека» — революционера. На вопрос «Что делать?» роман отвечал: строить свою жизнь так, чтобы она способствовала победе социализма. Царство социализма светло и прекрасно. Любите его, стремитесь к нему, работайте для него, приближайте его, переносите из него в настоящее, сколько можете перенести; настолько будет светла и добра, богата радостью и наслаждением ваша жизнь, насколько вы сумеете переносить в нее из будущего. Стремитесь к нему, работайте для него, приближайте его, переносите из него в настоящее все, что можете перенести» («Что делать?», гл. IV, § XVI, отдел 11) [150].

Этот голос из Петропавловской крепости потряс молодую Россию.

Трудно передать впечатление, которое произвело «Что делать?» при своем появлении, и достаточно рельефно описать роль, сыгранную этим романом в истории ряда поколений русской революции. Плеханов, принадлежавший к по-

колению, воспитавшемуся под непосредственным впечатлением этой книги, был прав, когда в год смерти Чернышевского писал: «С тех пор как завелись типографские станки в России и вплоть до нашего времени, ни одно печатное произведение не имело в России такого успеха, как «Что делать?»»[151].

Этот необычный, выпадающий и по форме, и по содержанию из всякого художественного канона «рассказ о новых людях» стал подлинным историческим событием крупнейшего масштаба, и, вместе с тем, страницей личной биографии тысяч и тысяч людей, в которых воплотилось будущее великой страны.

Он довершил, раз навсегда зафиксировал, с великолепной и неслыханной в истории литературы точностью, четкостью и решительностью, окончательный, бесповоротный разрыв между новой и старой Россией, вонзил нож в самый центр барской, дворянской культуры и трижды повернул его в нанесенной ране, от которой она никогда уже не оправилась. Оттого-то и взвилась так эта дворянская Русь и против автора, и против его героев, и против его рассказа об этих новых людях. Трудно оторваться от этого зрелища, в котором разум революционера, запертого в крепостной каземат, торжествует великую победу над извивающейся в судорогах бессилия и злобы «культурой» рабовладельцев.

В бой бросилась вся дворянская Русь: и сами баре и их приживальщики. Толстой ответил на «Что делать?» бессильной комедией-пародией «Зараженное семейство», Достоевский — «Записками из подполья», где рабская мораль страдания пытается обесчестить величественный идеал «новых людей», Фет — воззванием к вечным идеалам красоты, Катков — напоминанием о «духовных основах человеческого общежития», Страхов — апологией «бедной и трудной, но все же теплой жизни». «Что такое эта Вера Павловна? — спрашивал профессор Цитович. — Подкидыш Содома, наперсница Мессалины, самка Искариота».

«Ведь есть же у нас Смирительные дома, Исправительные заведения, — выли в «Домашней беседе», — есть отдаленные и глухие обители: туда их, под строжайший надзор, на монастырский хлеб и воду, копание гряд и другую черную работу, с непременным обязательством учиться богу молиться... Ведь душегубцам и зажигателям находят место вдали от благоустроенных обществ: а эти господа во сто, в

миллион раз хуже их» [152]... С каким чувством торжества и победной радости должен был наблюдать это смятение в рядах своих врагов узник Петропавловской крепости! Все заповеди и заклятия старого мира были мобилизованы против него — и все оказались бессильными.

«Для русской молодежи, — вспоминал об этих годах П. А. Кропоткин, — повесть была своего рода откровением и превратилась в программу... Ни одна из повестей Тургенева, никакое произведение Толстого или какого-либо другого писателя не имели такого широкого и глубокого влияния на русскую молодежь, как эта повесть Чернышевского: она сделалась знаменем для русской молодежи» [153].

«Мы читали роман чуть не коленопреклоненно, — вспоминает другой современник, — с таким благочестием, какое не допускает ни малейшей улыбки на уста, с каким читают богослужебные книги. Влияние романа было колоссально. Он сыграл великую роль в русской жизни, всю передовую интеллигенцию направив на путь социализма, низведя его из заоблачных мечтаний к современной злобе дня, указав на него, как на главную цель, к которой обязан стремиться каждый» [154].

Плеханов, свидетель компетентный, много лет спустя подтвердил: «Почти в каждом из выдающихся наших социалистов 60-х и 70-х годов была немалая доля рахметовщины», подлинного героя «Что делать?» — «Соль соли земли, двигатель двигателей» — так определил революционера Рахметова автор романа.

Сами враги должны были признать, что роман «выражает направление, в котором написан, гораздо полнее, яснее, отчетливее, чем все бесчисленные стихотворения, политико-экономические, философские, критические и всякие другие статьи, писанные в том же духе» [155].

Так ответил на свой арест Чернышевский. Таково было *единственное* беллетристическое произведение Чернышевского, которое при его жизни стало известным широким кругам читателей. Таков ответ истории на вопрос, способен ли был Чернышевский сражаться *чужим* оружием, оружием беллетриста.

Через несколько лет, в каторжной тюрьме, среди других работ, Чернышевский создал громадный роман-трилогию «Пролог». Только незначительная часть ее дошла до нас. Сокамерник автора М. Д. Муравский списал ее и сумел передать Г. И. Успенскому, тот — Г. А. Лопатину. Послед-

ний переслал за границу П. Л. Лаврову, который и напечатал ее в 1877 году, к великому смущению тюремщиков Чернышевского и ужасу и негодованию его родных, опасавшихся дальнейшего отягощения участи автора. Это был новый и значительный вклад Чернышевского в русскую литературу.

В ряде сцен, картин и диалогов опубликованная часть романа давала выпуклую и четкую картину настроений русского общества эпохи крестьянской реформы. До сих пор она остается единственным в русской беллетристике изображением этой эпохи, единственным — не только по уму и глубине оценки, но и по рельефности нарисованных автором представителей борющихся общественных групп. Некоторые образы этого романа концентрируют в себе целые страницы русской истории и истории русской культуры и в этом смысле незабываемы и вряд ли заменимы. Таков образ Муравьева-Вешателя — граф Чаплин: «Это был переодетый мясник... на этом лице было полнейшее бессмыслие, коровье бессмыслие, ни мало не жестокое, почти не злое, только совершенно бесчувственное... Только мясник, человек не смотревший ни на людей, ни на природу, смотревший все лишь на скотов и на скотов, мог приобрести такое скотское выражение лица». Таков образ революционера Сераковского—Соколовский: «Пламенно лившаяся речь его... была дельна, логична, исполнена фактов, была речью человека с железной волею, всецело посвятившего себя своему делу». Таков портрет либерала Кавелина — Рязанцев: «Рязанцев создан был — очаровывать невинных, грациозный и важный, живой и солидный, он всегда сиял добродушием и умом, любезностью и чувством своего значения в двиганьи русского прогресса». Таков образ самого автора — Волгин: «По иронической характеристике приятелей — представитель мнений ужасных, но врожденных русскому народу, народу мужиков, не понимающих ничего, кроме полного мужицкого равенства, и приготовленных сделаться коммунистами, потому что живут в общинном устройстве». Таковы, наконец, образы либералов и революционеров, бюрократов и помещиков, в чьих руках лежало решение крестьянского дела.

Роман — не только верная и глубокая картина эпохи крестьянской реформы, но и мощная реабилитация и апология революционной позиции автора и его группы. Недаром молодой Ленин в первой же своей работе признал развернутую в этом романе картину хода крестьянской реформы

свидетельством «гениальности Чернышевского»[156]. Роман этот вообще произвел на Ленина, в эпоху формирования его личности, большое впечатление; он раз навсегда запомнил его и охотно цитировал.

Повидимому, Чернышевский был прав, когда в своем обычном полуироническом тоне писал: «Сомнительно, чтобы поэтический талант был у меня велик. Но мне довольно и небольшого, чтобы писать хорошие романы, в которых много поэзии. Я не претендую равняться с великими поэтами. Но успеху моих романов не мог бы помешать и Гоголь. Я был бы очень заметен и при Диккенсе».

Но опубликованная часть «Пролога» — только незначительная часть созданной Чернышевским в Сибири трилогии. Последняя начиналась романом «Старина» — широкой картиной быта России накануне Крымской войны, — описывала «Пролог» (чего? — конечно, революции) — и кончалась новой «Утопией». Части этой трилогии Чернышевский читал и рассказывал своим товарищам по заключению. Они были очарованы развертывавшимся перед ними повествованием.

Один из этих слушателей Чернышевского впоследствии записал:

«Поистине великий должен был выйти роман — евангелие и библия современного человека. И этот роман остался неоконченным вероятно потому, что он погибал два раза: раз большая часть при отъезде Чернышевского на Вилюй и другой раз на Вилюе. После его второго истребления Чернышевский и не упоминал о его продолжении. Какая энергия не остановится перед перспективой писать и писать, чтобы все это неминуемо погибало и погибало».

Остальные беллетристические произведения Чернышевского дошли до нас только в виде более или менее крупных осколков. Все они не закончены. В этом виде они имеют ценность только как материал для биографии автора, как свидетельство его способности овладеть любой формой, великой изобретательности и гибкости его ума и его несокрушимой энергии в борьбе за возможность говорить с читателем. Кроме «Что делать?», части «Пролога» и одного стихотворения ничего из этих трудов Чернышевского не увидело света при его жизни. Только в 1905 году часть их была опубликована; другая часть их увидела свет только после того, как Октябрьская революция взломала архивы романовской монархии.

IX. ОГОНЬ ПОД СПУДОМ

1

Фельдъегерская телега с Чернышевским двинулась из Петропавловской крепости в 10 часов вечера 20 мая 1864 года. На рапорте об этом имеется пометка: «Государь-император изволил читать 21 мая». Отличительной чертой Александра II была трусость, примитивное, физиологическое чувство страха, Он хорошо помнил, что его дед был задушен, дядя (Александр I) как-то странно и таинственно закончил свои дни в таганрогском захолустьи, отец — отравился. Он вступил на престол в момент тяжелого поражения и глубокого потрясения страны. Страх за себя и за свою власть диктовал все поведение этого человека с бессмысленными «телячьими» глазами, которые когда-то привели в ужас Чаадаева. За судьбой Чернышевского, в котором он не напрасно видел сильнейшего из организаторов враждебного его власти движения, он следил пристально и неотступно.

Путь Чернышевского лежал на Вологду, Вятку, Пермь. 5 июня он был доставлен в Тобольск, 2 июля — в Иркутск и 23-го отправлен в Нерчинские рудники *. Задача правительства была выполнена. Оно могло, казалось, наконец-то забыть имя Чернышевского. Замурованный в далеких рудниках на границе Монголии, он, казалось, был политическим трупом. Но нет! В своей каторжной могиле Чернышевский был жив.

Зимой 1864—1865 года — Чернышевский только что был водворен в каторжную тюрьму — происходила при-

* Он был сначала поселен в поселке Кадая, а с октября 1866 года водворен в Александровскую тюрьму, в которой и оставался до декабря 1871 года.

дворная охота. Рядом с Александром II был поставлен товарищ его детства, поэт и придворный, граф А. К. Толстой. «Что нового в литературе?» — спросил его Александр. — Русская литература надела траур по поводу несправедливого осуждения Чернышевского» — отвечал Толстой. Царь перебил его: «Прошу тебя, Толстой, *никогда* не напоминать мне о Чернышевском», и, отвернувшись, прервал разговор [157]. Это было указанием Толстому и всему «культурному», приличному обществу. Ни Толстой, ни оно больше не напоминали ни царю, ни его правительству о Чернышевском. Имя Чернышевского было вычеркнуто со страниц легальной литературы.

Напоминание пришло с другой стороны.

4 апреля 1866 года Д. В. Каракозов стрелял в Александра II. Приступив к исследованию «корней и нитей» каракозовского дела, правительство на каждом шагу стало натыкаться на имя Чернышевского. Глава кружка, из которого вышел Каракозов, Н. А. Ишутин оказался последователем Чернышевского. Он признавал лишь трех великих людей истории: Христа, апостола Павла и Чернышевского. Обвинительный акт по его делу констатирует, что Ишутин «был один из главных деятелей в предположении об освобождении государственного преступника Чернышевского». Идейный руководитель каракозовцев, И. А. Худяков на следствии показал: «В голове моей было предположение, что для распространения демократических понятий прежде всего нужно дать возможность Чернышевскому бежать за границу в Женеву для издания какого-нибудь демократического журнала». Н. П. Странден, командированный кружком в Сибирь для подготовления побега, говорил, что дело освобождения Чернышевского настолько важно, что если бы даже все члены их кружка погибли, то это освобождение должно явиться первым делом их наследников. Приговор верховного суда по делу каракозовцев гласил, что одною из целей тайного общества было «освобождение из каторжных работ государственного преступника Чернышевского для руководства предполагавшейся революцией и для издания журнала, так как роман этого преступника «Что делать?» имел на многих из подсудимых самое гибельное влияние» [158].

В то же время вся молодая эмиграция — результат разгрома движения начала 60-х годов, — оппозиционная по отношению к Герцену, открыто объявила себя учениками и

последователями Чернышевского и приступила к изданию собрания его сочинений за границей. В 1867 году глава молодой эмиграции А. А. Серно-Соловьевич выпустил брошюру «Наши домашние дела» — страстную и красноречивую апологию Чернышевского, в которой объявлял его родоначальником всего революционного движения в России, учителем молодого поколения, бесконечно дорогим последнему. «Чернышевский основал действительную школу, он воспитывал людей, он образовал целую фалангу людей» — писал автор.

Правительство боялось. «Цель эмиграции — освободить Чернышевского. Прошу принять всевозможные меры относительно его» — телеграфировал граф Шувалов генерал-губернатору Восточной Сибири 13 июля 1868 года.

В 1870 году тот же Шувалов докладывал царю: «После ссылки Чернышевского каждый раз, когда правительство обнаруживало государственные преступления или вредные политические кружки, было заметно, что источником тех и других служила агитаторская деятельность Чернышевского и идеи, развитые в его сочинениях» [159].

Между тем, срок окончания каторжных работ Чернышевского приближался. По закону срок отбывания каторги для Чернышевского кончался в августе 1870 года. Согласно манифеста 1866 года по случаю рождения наследника и «высочайшего повеления» 1868 года о некоторых облегчениях для политических преступников срок этот еще сокращался и Чернышевский должен был бы быть выпущен на поселение уже в 1869 году. В этом была уверена местная администрация, сообщившая в Петербург еще в 1867 году, что Чернышевский «будет освобожден от работ в 1869 году» [160]. Был в этом уверен и Чернышевский. В апреле 1868 года он писал жене: «К следующей весне я буду жить уже ближе к России: зимою или в начале весны можно мне будет переехать на ту сторону Байкала... Вероятно, можно будет жить в самом Иркутске или даже Красноярске» [161]. Он строил уже планы возобновления литературных работ. Но по личному распоряжению царя ни манифест, ни «высочайшее повеление» к Чернышевскому применены не были. Наоборот. Шувалов по этому случаю сообщил генерал-губернатору Восточной Сибири, что Чернышевский вообще не должен быть освобожден от каторжных работ «прежде соглашения вашего со мною по этому предмету». Этим ставилось уже под вопрос не только освобождение Чернышев-

ского по манифесту, но и по самому сенатскому приговору.

Независимо от каких бы то ни было льгот по манифестам, согласно точному смыслу судебного решения Чернышевский безусловно подлежал освобождению от каторги в августе 1870 года. 12 августа этого года сибирские власти сообщили в Петербург, что срок Чернышевского истекает, и запрашивали, как им быть. 4 сентября шеф жандармов предложил этот вопрос на разрешение Александра. В своем докладе он подтверждал, что «закон требует отправить (Чернышевского) на поселение», но вместе с тем заявлял, что это могло бы облегчить побег Чернышевского и что, уйдя из рук правительства, последний станет неизбежно «центром нигилизма и вождем тех опасных попыток, к которым у нас, к сожалению, склонны вредные личности» [162]. Александр нашел, что примирить в должном духе требование закона и интересы безопасности его власти сможет комитет его министров, и передал вопрос последнему. Комитет не постеснялся ни в своем решении, ни в его мотивировке. Если первое потрясает разнуданным цинизмом своего лицемерия, то последняя хорошо свидетельствует, что для Александра и его министров Чернышевский и через 7 лет после своей гражданской смерти был живым и страшным врагом.

Комитет министров нашел, что «отзыв генерал-губернатора Восточной Сибири о невозможности отвечать за побег государственного преступника Чернышевского в случае обращения его, в общем порядке из разряда каторжных в разряд поселенцев, с освобождением от тюремного заключения, заслуживает особого внимания правительства как в виду важности совершенного Чернышевским целого ряда государственных преступлений, так и в особенности вследствие нравственных его качеств и того влияния, коим он пользовался в кругу молодежи, а отчасти и ныне пользуется, по удостоверению шефа жандармов. Необходимость полного, не допускающего ни малейших опасений, охранения молодежи от увлечений, легко могущих зародиться с появлением в их среде или за границею такого преступника, как Чернышевский, по мнению комитета столь настоятельна, что не следует останавливаться перед необходимыми для сего материальными жертвами.

Но, с другой стороны, комитет министров принужден был признать, что «в настоящее время состояние Чернышевского в разряде ссыльно-*каторжных прекращается*». А по-

тому комитет пришел к выводу о необходимости, «*продолжив временно заключение Чернышевского в тюрьме* в месте настоящего его пребывания, немедленно приступить к изысканию всех возможных мер к обращению сего преступника, согласно закону, в разряд ссыльно-поселенцев *в такой местности и при таких условиях, которые бы устранили всякие опасения на счет его побега* и тем самым сделали бы невозможными новые со стороны молодежи увлечения к его освобождению» [103].

Александр II написал: «Исполнить».

Практически это вылилось в решение перевести Чернышевского из Александровской тюрьмы в тюрьму г. Вилюйска, расположенного на 700 слишком *км* от Якутска, в полосе вечного холода, в глубине глухой якутской тайги. Это обозначал не облегчение положения, которое по закону и приговору должно было последовать для Чернышевского после отбытия каторжного срока, а ухудшение его; не приближение к России, а удаление от нее; полное разобщение даже с теми немногими товарищами, которые были у него в Александровске; полный отрыв от культурного мира.

Это свидетельствовало, наконец, что в деле Чернышевского никакие законы не соблюдаются и соблюдаться не будут, что заключение его — бессрочно, судьба — безнадежна.

1 января 1871 года Александр лично утвердил решение комитета министров о заключении Чернышевского в Вилюйский острог. Чернышевский — этот огонь под спудом — жегся. Его продержали в Вилюйске *двенадцать* лет, и судьба его изменилась лишь после того, как герои «Народной воли» убрали с лица земли самого Александра II.

2

И так, 21 год (1862—1883) крепости, каторги и вилюйской ссылки за 7 лет напряженной работы — такова плата, которой расплатился Чернышевский, за то, что поднял знамя народной революции и социализма в стране самодержавия. Три года за год. Он заплатил полной платой, и вряд ли она была под силу кому-либо другому кроме него. Надо было обладать несокрушимой волей, бесконечной силой дисциплинированного разума, непоколебимой уверенности в правоте своего дела, чтобы выдержать эту двадцатилетнюю пытку.

В течении первых семи лет — годы каторжной тюрьмы — у Чернышевского могли еще быть и были надежды. Он верил в возможность возвращения свободы, в возобновление литературной деятельности, продолжение проповеди своих идей. В тюрьме он был сдержан, ровен, прост и замкнут. Ко всяким лишениям относился с презрительным равнодушием. В окружавшей его молодежи из каракозовцев поддерживал бодрость духа, воспитывал ее своими рассказами и чтениями, но в излишние откровенности не пускался, планов своих не раскрывал. Он не любил говорить о битой ставке, о проигранной партии. Он не был ни сентиментален, ни болтлив, не любил ни хвастать возможными, но не сбывшимися планами, ни жаловаться на полученные в проигранном сражении раны. «На войне, так по-военному» — это любимое присловие Ленина, было близко и Чернышевскому. Он усиленно читал и учился. Он ждал революционного поворота событий в России и готовился к ним. 12 января 1871 года, накануне предполагавшегося освобождения с каторги, он писал жене, имея в виду неизбежные революционные потрясения: «Чему быть, того не миновать. И тогда мы с тобою увидим, жалеть ли нам о том, что вот сколько лет пришлось мне от нечего делать все учиться, все думать. Мы увидим: это пригодилось для нашей родины» [164].

Уверенность в неизбежности революционного перелома в судьбах страны, вера в то, что ему лично придется сыграть в них активную и видную роль, что своим руководящим участием в них он поможет народной массе избежать ошибок и прямее и быстрее притти к своей цели — вот, что поддерживало Чернышевского на каторге. Он не разбрасывался, не отвлекался в сторону, презрительно и горделиво обходил все невзгоды сегодняшнего дня. Он был сосредоточен на будущем. В этом основная черта настроения и поведения Чернышевского на каторге. Разными словами все товарищи Чернышевского по заключению рисуют все ту же фигуру пленного вождя, собравшего в тугой узел силы своего ума и воли, чтобы с достоинством вынести испытания плена — ради завтрашней своей роли.

«Там — на каторге, — писал М. Д. Муравский, — я видел Н. Г. Чернышевского, слышал его, говорил с ним, разыгрывал вместе с другими пьесы его сочинения. и, только глядя на спокойную и ясную твердость его характера, я понял, до какой большой высоты способна подняться душа человека» [165].

«Как только он вошел, — вспоминал П. Ф. Николаев, — так и легко стало. Если бы мы (каторжане-каракозовцы, его заочные ученики, впервые встретившиеся с Чернышевским на каторге. — *Л. К.*) могли тогда вслух выразить наше впечатление, то наверно оно вылилось бы в восклицании: «Да какой же он простой!» Простой — именно это и было настоящее слово».

Тот же Николаев рассказал об образе жизни Чернышевского в тюрьме. «Вставал он около 12 или часу, пил чай, вскоре обедал, опять пил чай и все это время читал; в сумерки, а иногда и перед обедом прохаживался по дворику и во время прогулки, если никого не было, распевал какие-то греческие гекзаметры... После прогулки он садился писать или шел в нашу комнату, просиживал до 11—12 часов и уходил опять к себе и писал до свету, когда ложился в постель. Так прожил Николай Гаврилович не только те 5 лет, когда я знал его, но все время своей ссылки, почти всю свою жизнь. Ни один посторонний наблюдатель, видя такое ровное и тихое существование, не мог бы угадать всей глубины любви к людям, всей той душевной чистоты и нежности, всей той бури кипучих страстей, какие таились в этой сдержанной, повидимому, хладнокровной и покойной, но в сущности кипучей мыслями и чувствами, полной нравственной энергии натуре» [166].

Нечаевец-каторжанин П. Г. Успенский так рассказывал о Чернышевском:

«Что это за человек Чернышевский, что это за человек, если бы вы знали! Свое заключение он переносил молча, с какою-то застенчивостью и стыдливостью... Наверное тосковал от безделья и тупого тюремного житья и Чернышевский, пожалуй и больше нас всех, вместе взятых, но у него всегда выходило на людях как-то так, что он был неизменно покоен, ровен в обращении, деликатен до застенчивости, а подчас так весел, что поднимал своей веселостью общее настроение. Я не всегда мог скрыть свою душевную муку и часто ходил по тюремному двору, не видя, пожалуй, под ногами, дороги, по которой ходил машинально. Он раз подошел ко мне, с неизменными очками на носу, с волосами, закинутыми назад; поразителен у него был широкий, могучий лоб, от ширины которого лицо его казалось суженным к подбородку, с клинообразной бородкой.

— Гуляете?

— Плохо гуляется, Николай Гаврилович; гулять плохо, не гулять еще хуже...

— Помните пословицу, Петр Гаврилович, «терпи, казак, атаманом будешь»? Не сейчас, конечно, а в будущем, далеком будущем; не мы, так дети наши или внуки... атаманами будут не всегда генералы с регалиями, а явятся атаманы великого ума, убеждения, непреклонного желания в другую сторону, поверх всей настоящей жизни. Вспомните протопопа Аввакума, что скуфьей крыс пугал в подземелье: человек был, не кисель с размазней... Раскольников ли не душили, не преследовали! А они себе растут и растут вширь и вглубь... Верят и действуют, вот в чем суть их жизни, верят и не опускаются... Натурально, за такими сила и будущее, а откуда они? Из простого, неграмотного народа — *вся сила в народе*... Мы с вами малюсенькие, нам и посидеть не грешно: посидим, посидим и выпустят, — дело верное» [167]

Неожиданный и беззаконный перевод в Вилюйск нанес этой уверенности громовой, сокрушающий удар. Понадобилось поистине сверхчеловеческое напряжение сил, чтобы удержать в этот момент равновесие ума и воли. Казалось в один момент, что Чернышевский не выдержит. Три недели мчали Чернышевского жандармский офицер и казачья команда из Александровского завода в Вилюйск. «Он все время находился в раздражительном состоянии» — доносил жандармский офицер по начальству. Через некоторое время прикомандированный для надзора над Чернышевским жандармский унтер-офицер доносил, что Чернышевский «выражает какие-то непонятные слова и в это время весь сам трясется, как будто бы подвергнувшись полному умопомешательству» [168]. Но Чернышевский справился.

Вот его первое письмо из Вилюйска жене от 31 января 1871 года.

«Считаю возможным сказать тебе, мой друг, несколько слов о Вилюйске. Это очень маленький город. В нем нет ни одной лавки. Товары, какие нужны для жителей, продаются торговцами в их собственных квартирах. Из того, что нужно мне, в числе этих местных товаров есть чай и сахар. — Вилюйск находится в 710 верстах от Якутска, почти прямо на запад. Климат почти одинаковый. Воздух здесь очень здоровый. Вилюй большая река; в ней много рыбы, превосходной... Между Якутском и Вилюйском вовсе нет русского населения; живут только якуты; и то, почти толь-

ко те семьи, которые содержат почтовую гоньбу. Станций большею частью по 40 и даже 50 верст; всего на 710 верстах 16 станций. Из этих мест остановки, на двух станциях есть довольно чистые комнаты, нечто среднее между русскою и якутскою постройкою. Остальные станции — якутские юрты: из них две-три не очень неопрятны; другие плохи относительно чистоты воздуха: тут вместе с хозяевами помещается и скот: коровы, телята. Зимою путь недурен, если снега выпали не очень глубокие; но дорожка, проложенная ездою, так узка, что повозка очень посредственной величины уж не может ехать: она вязла бы одним полозом в рыхлом цельном снегу. Потому ездят лишь на таких санях, у которых ширина между полозьями меньше обыкновенного. Кроме зимнего пути, другого удобного нет; от весны до осени, почту в Якутск возят верхами, а приезжающих вовсе не бывает, кроме совершенно необходимых случаев, когда путник решается ехать по болотам верхом. Почта в Якутск ходит раз в два месяца»[109].

Чтобы расшифровать это описание, в котором стремление успокоить близкого человека не смогло изгладить до конца суровой правды действительности, надо прочесть описание Вилюйска у Ю. М. Стеклова, биографа Чернышевского, которому тоже пришлось провести несколько лет в Якутской области.

«Вилюйск — пишет Стеклов, — это маленький городишко, лежащий в 710 верстах на северо-запад от Якутска в нездоровой, болотистой местности. В те времена это была просто плохая деревня, насчитывавшая не более 400 жителей, по преимуществу полудиких якутов, стоявших на самой низкой ступени развития... Отсутствовали самые необходимые для культурного человека предметы. Медицинской помощи не было никакой, и когда развились болезни, в частности зоб, Чернышевский принужден был лечить себя сам. Но ужаснее всего было полное одиночество, на которое его обрекли мстительные враги. В городе не было ни одного политического ссыльного. Местное же русское общество состояло из пары чиновников, пары церковников и пары купцов, с которыми у Чернышевского, конечно, не могло быть ничего общего»[170].

От *двенадцатилетнего* периода жизни Чернышевского в Вилюйске, в его литературном наследстве не осталось ничего, кроме немногочисленных писем родным.

Читать эти письма мучительно. Письма Чернышевского

из Сибири, это — повесть человека великого ума и благородного сердца, подвергнутого изощренной и медленной пытке.

Письма написаны ровным, спокойным тоном, рассчитанным на успокоение родных. Ни жалобы, ни проклятия не срывается с уст их автора. Но чем спокойнее тон писем, чем веселее и удовлетвореннее старается показаться их автор, тем яснее чувствуется скрытая за спокойным, а иногда шутливым тоном трагедия. Тут не только одна из бесчисленных трагедий лишения свободы. Тут драма великого писателя XIX века, ввергнутого в среду дикарей и лишенного всякого средства общения с культурной средой.

Материальные условия Чернышевского были бесконечно тяжелы. Но он так ревностно заботился о спокойствии своей жены и детей, что если судить только по письмам к ним, можно подумать, что за все время своей жизни в Сибири Чернышевский ни разу не страдал хотя бы насморком. Из письма в письмо переходят эти строки: «Сообщаю тебе обыкновенные мои хорошие извещения о себе: я совершенно здоров и живу превосходно; денег у меня много, и все нужное для комфорта я имею в изобилии». И «здоровье», и «комфорт», и «изобилие», — все это поминается лишь для спокойствия родных. На деле не было ни здоровья, ни комфорта, ни изобилия. Сибирь наградила Чернышевского зобом, ревматизмом и скорбутом. О «комфорте» достаточно говорит хотя бы то, что за все время Чернышевский не мог посоветоваться с врачом, а хинин должен был выписывать из Петербурга, откуда он шел с полгода. Когда на ногах у него появились язвы, он писал сыну: «Я не лечил этих язвинок: я не знаю, чем их лечат, и не знаю, следует ли их лечить»... Выписывая лекарство, он должен считаться с перепуганным невежеством своих церберов и переводить названия по-русски: «ученых терминов не употребляю, чтобы из-за справок о их значении не было задержки письму». И при этих условиях Чернышевский находит в себе силы писать: «Я живу здесь, как в старину живали, вероятно и теперь живут, помещики средней руки»...

Не таков был Чернышевский, чтобы на него оказали влияние материальные лишения. Сильнее должна была действовать другая сторона уготованной ему врагом жизни.

Вилюйская переписка Чернышевского дает немного нового для характеристики его как мыслителя и общест-

венного деятеля. Для этого есть достаточные основания. Во-первых, все почти письма проходили, прежде чем попасть к адресату, через руки полицейских и жандармских властей. Чернышевский знал это, и это обстоятельство, естественно, не располагало его к откровенности и к свободному обсуждению интересовавших его вопросов. Тут кстати будет отметить поразительную щепетильность, с которой Чернышевский ограждал своих знакомых и даже случайно встречавшихся с ним лиц от возможных неприятностей в результате сношений с ссыльно-каторжным «государственным преступником». «У меня правило, — пишет Чернышевский, — по возможности не видаться ни с кем». Он уходит от своих вилюйских знакомых, когда узнает, что к ним должен зайти приезжий доктор; он готов видеться только с теми, кто «по своему чину считает себя человеком выше возможности испортить себе репутацию знакомством со мною». Предлагая свое сотрудничество редактору «Вестника Европы», М. Стасюлевичу, Чернышевский пишет: «Иметь дело с Чернышевским не может быть приятностью ни для кого на свете», и кончает просьбой, «не отвечать ему». Письмо к одному своему родственнику он начинает так: «Получать письма от меня неприятный сюрприз», и кончает: «Не к кому было написать, кроме вас. Простите же. И ни в каком случае не отвечайте мне».

Уже это достаточно характеризует, с каким чувством вел свою переписку Чернышевский и почему в своей большей части она носит преимущественно личный характер.

Но была для этого и еще одна причина.

Чернышевский был мыслителем и проповедником, пропагандистом идей революции, материализма и социализма. В неустанной пропаганде этих идей был для него смысл жизни. Здесь он был способен проявить невиданную энергию. Вне этого жизнь превращалась в бессмысленное и истощающее прозябание. В натуре Чернышевского эта черта до того ясна, что даже самые ожесточенные враги его не могли ее не заметить. Так, например, один из самых отвратительных наследников людей, замучивших Чернышевского, среди ряда невежественных мерзостей о нем должен был написать: «С самого Петра I мы не наблюдаем еще натуры, у которой каждый час бы *дышал*, каждая минута *жила* и каждый шаг был обвеян «заботой об отечестве»... Такие л и ц а рождаются веками: и бросить ее в снег и глушь, в ели и болота... это... это чорт знает, что такое.

Уже читая его слог, прямо чувствуешь: никогда не устанет, никогда не угомонится; мыслей — пучок, пожеланий — пук молний. Именно «перуны» в душе... Такие орлы крыльев не складывают, а летят и летят, до убоя, до смерти или победы» [171]. Вот слова врага, не умеющего даже подступить к оценке *идей* Чернышевского. К тому, чтобы обесплодить кипучую энергию его мысли, чтобы лишить его, прирожденного идейного и политического борца, возможности влиять на жизнь своего времени — и была направлена вся забота его тюремщиков. Он был лишен возможности что-либо печатать. Но этого мало.

«Хорошо для меня, — пишет Чернышевский, — что я способен перечитывать по двадцати раз одну и ту же книгу. Благодаря этому, недостатка в чтении у меня нет!» «Здешние люди — как везде: есть дурные, есть хорошие; но все они совершенно чужды всяких качеств, по которым люди могут быть нескучными для меня собеседниками... и я не вижусь решительно ни с кем, кроме слуги, не умеющего говорить по-русски, потому не собеседника, разумеется; не вижусь ни с кем по целому месяцу». «Якуты — неопрятные дикари; и объякутившиеся русские, конечно, таковы». Так жил Чернышевский: без возможности работать, без книг почти, без собеседников, среди «неопрятных дикарей», в «полудикой и совершенно нищенской местности».

Оставалось жить с книгами, что и делал Чернышевский. Но вести беседу о той жизни и о тех вопросах, которые он находил в книгах, — было не с кем, его корреспонденты стояли далеко от его интересов. Не было цели и в сохранении того, что писал Чернышевский: он жег и топил все, что им писалось в Вилюйске.

Лучше других почувствовал эту трагедию и сказал о ней самый суровый из современников Чернышевского М. Е. Салтыков-Щедрин. Задумавшись в 1875 г. над положением последнего, он написал в частном письме:

«Сидит в мурье, среди снегов, а мимо него примиренные Декабристы и Петрашевцы проезжают на родину и насвистывают «Боже Царя храни»... И все ему говорят: стыдно, сударь! У нас царь такой добрый — а вы что! Вопрос: проклял ли жизнь этот человек или остался он равнодушен ко всем надругательствам и все в нем старая работа, еще давно, давно до ссылки начатая, продолжается. Я склоняюсь к последнему мнению. Ужасно только то, что вся эта работа в заколдованной клетке заперта. И этот

человек, недоступный никакому трагизму (до всех трагизмов он умом дошел), делается бессилен против этого трагизма. Но в чем выражается это бессилие? Я думаю, что не в самоубийстве, но в простом окаменении. Нет ничего кроме той прежней работы — и только. С нею он может жить, каждый день он эту работу думает, каждый день ее пишет и каждый день становой пристав, по приказанию начальства, отнимает эту работу. Но он и этим не считает себя вправе обижаться: он знает, что так должно быть»[171а]. Трудно точнее нарисовать образ Чернышевского в Вилюйске.

Писал он целыми днями изо дня в день, а сохранилось из всего этого лишь то, что сам Чернышевский считал наиболее легальным и наименее напоминавшим круг его действительных интересов: стихи, сказки, несколько фантастических повестей... Пытка, которой был подвергнут Чернышевский, быть может, ярче всего вскрывается в тех простых словах, которыми он сам характеризовал то, чего ему, мыслителю и борцу, недоставало в Сибири. «Я мог бы, — писал он, — привести в пример, сходный с моими книжными недостатками, жизнь тех ученых, которые работали для науки до изобретения книгопечатания».

Быть на вершине всех знаний XIX века, стоять на уровне интересов и стремлений передовых его элементов и в продолжение двадцати лет быть поставленным в условия жизни XII или XIII веков — вот трагедия, которую переживал Чернышевский в Сибири и которую он старательно затушевывал в своих письмах ради спокойствия своих родных.

И несмотря на это, небольшой томик писем Чернышевского из Сибири навсегда останется в мировой литературе памятником смелой мысли и непреклонности убеждений[172]. Поразительнее всего в нем проникающий его и столь контрастирующий с личным положением автора *исторический оптимизм*, неизменный признак ведущих умов человечества. К философии пессимизма, к пессимистическим настроениям, к пессимистическим историческим построениям, он относился с величайшим негодованием, следует сказать — с презрительной гадливостью. Испытавши величайшие удары в своей личной жизни и общественной деятельности, пытаемый неслыханной моральной пыткой, он оставался верен завету лучших дней своей героической борьбы «будь что будет, а будет на нашей улице праздник».

История шла до сих пор плохо — писал он сыновьям из Вилюйска в 1877 году. «Что из того следует? Мрачный ли взгляд на вещи, как у большинства последователей Дарвина, или, еще хуже, у этого новомодного осла, Гартмана, пережевывающего жвачку, изблеванную Шеллингом и побывавшую после этого во рту Шопенгауэра, от которого Гартман и воспринял ее? Хандра, это — не наука. Глупость, это — не наука. Из того, что у массы людей слабы все интересы, кроме узких своекорыстных, следует только то, что человек — существо довольно слабое. Новости в этом мало. И унывать от этого нам уж поздно. Следовало бы, по Гартману и ученикам Дарвина, притти в отчаяние тем нашим предкам, которые признали себя, первые, людьми, а не обезьянами. Им следовало бы отчаяться, побежать к морю и утопиться. Но и они не были уж так глупы, чтобы сделать такую пошлость. Они — хоть наполовину еще орангутаны — все-таки уж рассудили: «Мы плоховаты, правда; но все-таки, не все же в нас дурно. Поживем, будем соображать, будем понемножку становиться лучшими и получше уметь жить». Так оно, вообще говоря, и сбылось: много падения испытало развитие добрых и разумных элементов человеческой природы. Но все-таки мы получше тех обезьян. Будем жить, трудиться, мыслить и будем понемножку делаться сами лучше и лучше устраивать нашу жизнь... Я заговорился о характере своих отношений к новомодным пережевываниям изблеванных прежними сумасбродами, в роде Шеллинга, жвачек. Но гораздо лучше, нежели от меня самого, вы можете узнать общий характер моего мировоззрения от Фейербаха. Это взгляд спокойный и светлый... И никакие пошлости, в роде гадкой деятельности иезуитского ордена [это был, конечно, только рассчитанный на жандармскую цензуру писем пример: вместо иезуитского ордена читателям письма предоставлялось подставить и «российское самодержавие» и «европейскую буржуазию». — *Л. К.*] не смущают моих мыслей... Основная сила зла, действительно, громадна. Но, что ж из того, для нашего мировоззрения? — Выбивался же понемножку разум людей из-под ига их слабостей и пороков, и силою разума улучшались же понемножку люди; даже в те времена, когда были еще наполовину обезьянами. Тем меньше мы имеем права мрачно смотреть на людей теперь, когда они все-таки уж гораздо разумнее и добрее, чем горилла и орангутан. Понемножку мы учимся. И научаемся понемножку

быть добрыми и жить рассудительно. Тихо идет это дело? — Да. Но мы — существа очень слабые. Честь нашим предкам за то, что они дошли и довели нас хоть до тех результатов труда, которыми пользуемся мы. И наши потомки отдадут нам ту же справедливость; скажут о нас: «Они были существа слабые, но все-таки не вовсе без успеха трудились на свою и нашу пользу» [173].

Исторический оптимизм Чернышевского базировался на вере в силу человеческого разума. Это не мешало ему в тех же письмах давать прекрасные образчики материалистического истолкования исторических явлений. Таков, например, его набросок истории пап и религиозных распрей в средние века. Сталкиваясь с обычным для буржуазных историков «идеалистическим» истолкованием этих явлений, Чернышевский беспощадно изобличает их «ребяческие иллюзии». Считать эти факты, говорит он о крестовых походах и религиозных междоусобиях, совершавшиеся под знаменем церкви, делами, происходившими по религиозным мотивам, — иллюзия. Эмблемы, знамена, были церковные. Мотивы были обыкновенные, житейские.

Вообще, надо сказать, что в своем заслуженно презрительном отношении к официальной, профессорской, гелертерской учености Чернышевский больше всего напоминает Маркса, усиленно прививавшего рабочему классу критическое отношение к самым высоким авторитетам буржуазной науки. Не устает высмеивать их «ребяческую наивность» в вопросах обществознания и Чернышевский. «Русские ученые моего времени, — пишет он сыну, — находили, что я мало уважаю знаменитых ученых. Я слишком уважал многих знаменитых ученых, которых не стоило нисколько уважать».

Он оставался верен Фейербаху—«единственному мыслителю нашего столетия, у которого были совершенно верные, по-моему, понятия о вещах» [174]. Вместе с Фейербахом он продолжал издеваться над мелкотравчатым либерализмом и прогрессизмом. «О, эти прогрессисты, — писал он, — умные люди. Одна беда им и от них: глупцы напишут глупости; они не потрудятся вникнуть в дело, а перепишут все сплошь, заменяя, например, аскетические термины механическими, или консервативные эпитеты — прогрессивными... Изо всех книг, какие читывал я, только у Людвига Фейербаха не находил я глупостей. Фейербах не был то, что называют прогрессистом». Далее Чернышевский ссыла-

ется на предисловие к фейербаховским «Лекциям о религии» и формулирует его точку зрения так: «Я не могу участвовать в совершении чудес, — то есть чудес нелепости, которая провозглашает себя прогрессивным образом мыслей и всяческими благородными именами». «Я, — заканчивает Чернышевский, — всегда был человеком, смеявшимся над прогрессистами всяких сортов».

Стоит развернуть указанное Чернышевским предисловие Фейербаха, чтобы уразуметь, о чем идет здесь речь у Чернышевского. В указанном месте — правда, в терминах философских, а не общественно-политических — Фейербах критикует половинчатость мартовской (1848 г.) революции в Германии, ее непоследовательность и указывает, что оставался в ее время простым зрителем, ибо заранее предвидел ее исход. «Если снова вспыхнет революция и я приму в ней деятельное участие, то, — пишет Фейербах, — вы можете быть уверенным, что эта революция будет победоносной, что это наступит страшный суд монархии и иерархии. К сожалению, этой революции я не увижу в живых»...

Чернышевский не терял ни на минуту уверенности в неизбежности этого «страшного суда», но надежда на то, что он лично примет в нем активное и руководящее участие должна была ослабевать по мере того, как текли вилюйские годы. В анализе исторических событий он был всегда трезв и реален. «Это — исторические надобности», — писал он о своей и своих настоящих и будущих товарищей судьбе. Чернышевский знал, что он жертва не только врагов народа, но и жертва неразвитости, неорганизованности, неподготовленности к борьбе самой народной массы. «Горьки и обидны для них [для «десятков миллионов нищих».— *Л. К.*] мои мысли о них. Льстить им я не гожусь» [175]. Он хотел говорить им только жесткую, но спасительную правду — в качестве политического вождя, если возможно; в качестве публициста, если невозможно первое, или хотя бы в качестве беллетриста, автора притч, сказок, повестей, если невозможно ни первое, ни второе. Вилюйск отрезал все и всякие возможности.

Революционеры не прекращали попыток вырвать своего вождя из вражеских рук. Каракозовцы видели в этом одну из первых своих задач, собирали для этого деньги, готовили паспорта, командировали в Сибирь Страндена. Он не успел выехать из Москвы.

В 1870 году с той же целью направился в Сибирь

Г. А. Лопатин. Он добрался до Иркутска, но здесь был арестован. Лопатин действовал под влиянием высокой оценки Чернышевского Марксом, который, изучив сочинения Чернышевского, говорил Лопатину, что «русские должны стыдиться того, что ни один из них не позаботился до сих пор познакомить Европу с таким замечательным мыслителем»; что «политическая смерть Чернышевского есть потеря для ученого мира не только России, но и целой Европы».

В 1875 году попытка была повторена Ипполитом Мышкиным. Мышкин добрался до самого Вилюйска и явился к исправнику в форме жандармского офицера с поддельными предписаниями о выдаче ему Чернышевского, но возбудил в исправнике сомнение (причина — не по форме надетый Мышкиным аксельбант), был взят под стражу, пытался отделаться от нее, отстреливаясь, но не мог спастись и был арестован.

Другим путем пытались добиться изменения участи Чернышевского его родственники. Они многократно обращались с ходатайством к власть имущим. Когда сыновья Чернышевского предложили матери в первый раз обратиться с соответствующим прошением, она писала им: «*Для вас обоих* я сделаю то, что хотите. Но знайте, что это будет сделано против *моего*, и наверное против желания *вашего отца*. Я никогда не ждала ничего для Н. Г. Я знала, что его сгноят там. Для чего же кланяться? Все это напрасно! Ничего не будет лучше!» [176]. Прошения, однако, подавались — и, конечно, безрезультатно. По поводу одного из таких ходатайств, поддержанного ближайшим в то время к царю человеком, графом Лорис-Меликовым, Александр II сказал последнему: «Напрасно ты просишь о Чернышевском; ты не знаешь его: это человек крайне опасный, — иначе нигилисты не старались бы так высвободить его». Это было в 1880 году, через 18 лет после ареста Чернышевского и за несколько месяцев до 1 марта.

Была, конечно, цена, за которую Чернышевский мог купить освобождение из Вилюйска.

Полковник Винников, в 1874 году адъютант генерал-губернатора Восточной Сибири Синельникова, рассказывал доктору В. Я. Кокосову, что однажды Синельников получил из Петербурга бумагу, из которой вытекало, что если Чернышевский подаст прошение о помиловании, то он будет освобожден из Вилюйска, а со временем и возвращен в Россию. Винников был командирован в Вилюйск с целью

позондировать почву. «Посетив Чернышевского, — рассказывал Винников, — я попросил его сесть, сел и сам рядом, проговорив, что мне нужно еще поговорить с ним по одному важному обстоятельству. Он сел против, непринужденно, без всякого видимого интереса на сухощавом, бледно-желтоватом лице, поглаживая рукой свою клинообразную бородку, глядя на меня через очки невозмутимо спокойно. Я приступил прямо к делу: «Николай Гаврилович, я послан в Вилюйск со специальным поручением от генерал-губернатора именно к вам... Вот не угодно ли прочесть и дать мне положительный ответ в ту или другую сторону». И я подал ему бумагу. Он молча взял, внимательно прочел и, подержав бумагу в руке, может быть с минуту, возвратил мне ее обратно и, привставая на ноги, сказал: «Благодарю. Но видите ли, в чем же я должен просить помилования? Это вопрос... Мне кажется, что я сослан только потому, что моя голова и голова шефа жандармов Шувалова устроены на разный манер, а об этом разве можно просить помилования? Благодарю вас за труды... От подачи прошения я положительно отказываюсь»... По правде сказать, я растерялся и, пожалуй, минуты три стоял настоящим болваном. «Так, значит, отказываетесь, Николай Гаврилович?» — «Положительно отказываюсь!» — и он смотрел на меня просто и спокойно». Посланцу петербургского правительства стало... стыдно [177].

3

Освобождение Чернышевского из Сибири могло явиться только в результате нового подъема революционной волны. Так оно и случилось. Возвращение Чернышевского в Россию было косвенным последствием героической борьбы «Народной воли». 1 марта 1881 года народовольцами на улицах Петербурга был казнен Александр II. Новый император явился немедленно, но придворные круги были охвачены паникой и мечтали пока лишь об одном: о том, чтобы «благополучно» — без террористических покушений — провести коронацию. Они вступили в переговоры с Исполнительным комитетом Народной воли. Но как только гр. П. П. Шувалов (другой, не шеф жандармов) и гр. И. И. Воронцов-Дашков пришли в соприкосновение с этой средой, они от своих посредников (некий доктор Э. И. Нивинский, затем — либеральный журналист

Н. Я. Николадзе, студентом бывавший у Чернышевского и затем под его знаменем оражавшийся с Герценом в эмиграции) услышали, что освобождение Чернышевского является первым, предварительным условием каких бы то ни было переговоров. Переговоры кончились ничем, точнее: были прерваны на первых же шагах, но обещание освободить Чернышевского было дано. Шувалов и Воронцов считали себя связанными данным словом, но добиться от сына Александра II выполнения обещанного было нелегко. Незадолго до коронации Шувалов явился к Николадзе и вручил ему собственноручно подписанное обязательство добиться освобождения из Сибири и возвращения на родину государственного преступника Чернышевского. На вопрос удивленного Николадзе, отнюдь не ожидавшего столь формального документа, Шувалов объяснил: «Чернышевского страшно трудно вырвать из их рук. Только отобрание вами у меня этой подписки даст мне и гр. И. И. Воронцову-Дашкову возможность настаивать во дворце и перед Д. А. Толстым [министр внутренних дел. — *Л. К.*] об исполнении обещания, данного вам. Но вы обязаны говорить, если вас спросят, будто это вы вынудили меня дать вам такую подписку и будто я долго отказывался выдать ее». Так освобождение Чернышевского стало предметом борьбы придворных клик вокруг потрясенного народовольческими бомбами трона.

Как бы то ни было, после коронации, 27 мая 1883 года, воспользовавшись новым прошением сыновей Чернышевского, Александр III «изъявил предварительное соизволение на перемещение Чернышевского под надзор полиции в Астрахань». Обещание вернуть вилюйского пленника в Саратов было таким образом все же нарушено.

Только в конце августа иркутские жандармы вывезли Чернышевского из Вилюйска. Через два месяца, 27 октября 1883 года, все под жандармским конвоем, Чернышевский прибыл, наконец, в место своей новой ссылки, Астрахань. Только через 6 лет, за 4 месяца до смерти, получил он возможность переехать в родной Саратов. Здесь он и умер 17 октября 1889 года. Из 61 года жизни 27 он провел в крепостных и каторжных тюрьмах и ссылке.

Годы жизни Чернышевского после Сибири в Астрахани и Саратове (1883—1889) подтверждают с непререкаемой силой палаческую роль не только царизма, но и культурного, либерального общества по отношению к Черны-

шевскому. Его переписка этого времени дает в общем потрясающую картину утонченных нравственных пыток, на которые обречен был Чернышевский и после возвращения из Сибири. Виновником этого было не только царское правительство, но — на этот раз даже в большей мере — именно «культурное» общество 80-х годов.

Среда, в которой правительство насильственно держало Чернышевского, — обывательская среда глухих провинциальных углов, — немногим отличалась от среды полудиких обывателей якутских поселений. С полным правом Чернышевский мог повторить о ней то же, что писал в 1873 г. из Сибири о своих вилюйских «знакомых»:

«Здешние люди — как везде: есть дурные, есть хорошие; но все они совершенно чужды всяких качеств, по которым люди могут быть нескучными для меня собеседниками... Вся сумма жизни от истоков Лены до океана составляет такую сумму знаний и новостей, которой достанет на полчаса разговора в год. Больше надобно не требовать: все то же, все то же» [178].

Круг знакомых и интересов Ольги Сократовны, как они выясняются из переписки и воспоминаний, — астраханские бакалейщики и рыбопромышленники, монахини соседнего монастыря, мелкие служащие казенных и частных учреждений, — вполне гармонировали с этой характеристикой. К этой среде Чернышевский мог испытывать только презрение. Но и презрение открыто нельзя было высказывать: это поставило бы Чернышевского в роль какого-то Дон-Кихота, сражающегося с провинциальным мещанством и чиновничеством; это, вероятно, сломало бы кое-как налаженную жизнь; это, наконец, огорчило бы Ольгу Сократовну. Свое презрение приходилось маскировать: лучше было прослыть «чудаком», «нелюдимом», чем провинциальным Дон-Кихотом.

Почти буквально повторяя характеристику окружавшей его в Вилюйске среды, Чернышевский пишет через пятнадцать лет о своей жизни в Астрахани:

«Я житель того самого острова, на котором благодушествовал некогда Робинзон Крузо, со своим другом Пятницею. Я не лишен нежных приятностей дружбы; но все здешние друзья мои — Пятницы, ...мы толкуем о том, хорош ли улов рыбы, выгодны ли для рыбопромышленников цены на нее, сколько привезено хлопка и фруктов из Персии; уплатит ли по своим векселям Сурабеков или Усейнов» [179].

Пятница — лишь другое воплощение той же дикости, которая окружала Чернышевского в Вилюйске.

Выход для Чернышевского был в одном — в научной, литературной работе. Этого требовало и материальное положение. На руках у Чернышевского была жена, не очень считавшаяся с реальными возможностями удовлетворения своих потребностей, и два сына, еще требовавшие поддержки, — один из них больной. Позади были долги наследникам Некрасова и Пыпину, поддерживавшим семью во время сибирской ссылки отца.

С широкими планами научно-литературной работы возвращался Чернышевский из Сибири. Планы энциклопедии человеческих знаний, истории цивилизации, переработки всеобщей истории, наконец, создания энциклопедического словаря были обдуманы в вилюйском одиночестве и, вероятно, во многих деталях уже проработаны. Оставалось сесть за работу и этим путем продолжать то дело, которому с молодости отдана была вся жизнь. Но... прежде всего пришло сообщение, что запрет на литературную деятельность Чернышевского, действовавший еще в Сибири, — не снят. Если верить Ольге Сократовне, Чернышевский — этот железный человек несгибаемой воли — плакал, наткнувшись на это препятствие.

Затем запрет был «снят», но на таких условиях, которые обозначали невозможность какой-либо серьезной литературной работы.

«Вопрос о праве ваших занятий в печати вчера выяснился, — сообщали Чернышевскому из Петербурга *через год* после его переезда из Сибири — работать можете, посылая все написанное ко мне на мое имя, а я уж от себя буду представлять присланное в цензуру. Статьи ваши будут появляться под псевдонимом, а под каким — сейчас сказать не могу... Главным условием поставлено, чтобы появление ваших статей не было встречено какими-нибудь неразумными писателями излишней болтовней или овациями, и чтобы псевдоним не был разоблачен. Хотя последнее и трудно, но будем стараться о молчании» [180].

Все это обозначало, конечно, невозможность сколько-нибудь самостоятельной работы в той области и в том объеме, о которых мечтал Чернышевский. Он попробовал перейти на отдельные статьи и на беллетристическую форму изложения. Беллетристика Чернышевского сибирского и астраханского периода — это, конечно, тоже *маскировка*,

как маскировкой были его «чудачества» и «странности», ограждавшие его от обывательского любопытства, обывательского сочувствия и обывательской назойливости. Но и здесь его постигла неудача.

На этот раз удар шел не со стороны правительства, а со стороны самих руководителей культурного и либерального общества. Редакторы прогрессивных журналов и газет, руководители «передовых» издательств, Стасюлевичи, Гольцевы, Чупровы, конечно, «сочувствовали» Чернышевскому, конечно, «возмущались» комедией совершенной над ним судебной расправы, но, конечно, пальцем о палец не ударили, чтобы обеспечить ему возможность высказываться на страницах их изданий.

Либеральная и либерально-народническая журналистика оказалась для Чернышевского закрытой. Она решительно оттолкнула все его попытки в какой бы ни было форме — хотя бы беллетристической — использовать эту трибуну для своей работы *. Это понятно: и через 25 лет после ареста Чернышевский оставался Чернышевским, то есть социалистом и революционером, а либерально-народническая журналистика — журналистикой, действующей «применительно к подлости». Для нее Чернышевский в 80-х годах оказался столь же неприемлемым и невыносимым, как и в 60-х.

Фактически такое отношение либеральной («Вестник Европы») и либерально-народнической («Русская мысль», «Русские ведомости») журналистики к Чернышевскому обозначало их соучастие в политическом умерщвлении Чернышевского, — цель, которую никогда и ни от кого не скрывали правительства Александра II и Александра III. Но хозяева тогдашней литературы, либералы и народники, обрекали вернувшегося из Сибири Чернышевского не только на политическую смерть, на литературное безмолвие, они обрекали его на голодную смерть в подлинном, материальном смысле слова. Вне литературы у Чернышевского заработка не было и быть не могло. Закрыв перед ним двери

---

* До чего доходил страх этих господ перед именем Чернышевского, хорошо характеризует следующая запись в «Автобиографии» Костомарова: «Стасюлевич решился на сотрудничество Пыпина весьма неохотно, боясь... компрометировать себя связью с другом Чернышевского» [181]. А. Н. Пыпин был честным человеком и преданным другом Чернышевского, но никогда не имел никакого отношения к революции.

своих газет, журналов и издательств, Стасюлевичи всех рангов и мастей угрозой голодной смерти превратили «великого русского ученого и критика» в литературного чернорабочего, в чернильного кули, в поденщика, принужденного затрачивать богатства своего ума и энергию своей воли на подневольный перевод иностранных книжек, авторы которых во всех отношениях стояли ниже своего переводчика *.

Нельзя без возрастающего чувства ненависти к Стасюлевичам, Гольцевым и прочим богам тогдашнего либерально-народнического Олимпа читать письма Чернышевского, посвященные его попыткам пробиться к самостоятельной работе, неудачам этих попыток и вынужденной работе над переводами. Сделав заказанный ему перевод книг Карпентера и Шрадера, Чернышевский писал в Петербург:

«Прошу лишь о двух вещах: 1) ни на книжке Карпентера, ни на книге Шрадера не выставлять моего имени. Это не такие труды, чтобы мне могло быть приятно хвалиться ими. Поэтому 2) прошу... сказать издателю, что я не желаю иметь экземпляров этих переводов; мне совестно и думать об этих моих работах, особенно... о работе над Шрадером, которую сделал я — лишь по праву нищего получать деньги задаром...» [181].

В другом письме:

«Книга Карпентера — нескладная болтовня специалиста, взявшегося написать популярную книгу... это смесь ребяческого пустословия... с кусочками изложения во вкусе совершенно педантском... Мне совестно было переводить... Я не желал бы употреблять мой труд на содействие издательству пустых книжонок».

Это писал Чернышевский о своих переводческих работах в 1883—1884 гг. Прошло несколько лет, в течение которых Чернышевский — ради хлеба насущного — тратит по 10—15 часов в сутки на перевод «Всеобщей истории» Вебера. Вот что он пишет об этой своей работе за несколько месяцев до смерти:

«Я перевожу книгу, положительно не нравящуюся мне, я теряю время на переводческую работу, неприличную для человека моей учености и моих — скажу без ложной скром-

* 26 декабря 1888 г. Чернышевский писал: «Издатель и редактор «Вестника Европы» Стасюлевич принадлежит к числу людей, считающих меня простым крикуном, но вполне честным. Когда я, возвратившись из отдаления в Россию, и не имея никаких средств к жизни, просил у него работы, он отказал мне...» [182].

ности — умственных сил... Книга Вебера — добросовестная компиляция, составленная человеком, не знающим того, что он переписывает из монографий... С ученой точки зрения — книга Вебера дрянь»...[184].

Сознание неизбежности тратить свои силы на перевод «пустых книжонок» и всяческой «дряни» далось Чернышевскому не сразу и не без большой внутренней борьбы. Он писал своему посреднику с журнальным и книгоиздательским миром, А. П. Пыпину в 1885 г.:

«Видишь ли, мой милый, у меня были кое-какие мысли о том, как и что я буду писать. Весной я еще держался за них. Но пора же было увидеть... эти мысли неосуществимы. А я держался их не только весною и летом. *Не нравилось бросать их. Теперь бросил. Потому жду, к какой работе найдут меня пригодным журналисты*»[185].

Через год эта же мысль повторяется в другой форме.

«Мне все еще кажется, — пишет Чернышевский в 1886 году, — что я мог бы написать не по русски — разумеется — что-нибудь пригодное для разъяснения некоторых вопросов по этим отраслям науки [по философии и всеобщей истории. — *Л. К.*]. Но недосуг заниматься ничем кроме работы для денег»[186].

В основе этого безвыходного положения лежало крушение всех попыток Чернышевского прорваться на страницы русских журналов и газет. *За три недели* до смерти Чернышевский пишет о своем «намерении попытаться, не станут ли «Русские ведомости» принимать мои статьи». Но он предвидит неуспех и этой последней своей попытки добиться возможности самостоятельной литературной работы. Он ясно видит подлинную причину крушения этих надежд.

«Я не гожусь в сотрудники и «Русским ведомостям», — пишет Чернышевский в одном из последних своих писем, — как не годился «Вестнику Европы» и «Русской мысли». Действительно, мои понятия о вещах не сходятся с господствующими в лучших периодических изданиях»[187].

Надо принять во внимание, что «Вестником Европы», «Русской мыслью» (в которой в это время сотрудничали все признанные литературные вожди народничества во главе с Н. К. Михайловским) и «Русскими ведомостями» исчерпывался в то время круг столичной прогрессивной журналистики. За этими пределами существовала только пресса Сувориных и Катковых. Что же касается этой прессы, то на вопрос, знаком ли он с ней, Чернышевский отвечал:

«...Какое нам дело до пошлостей Суворина или хотя бы тех трактирщиков [то есть бюрократических и дворянско-капиталистических групп. — *Л. К.*], половыми у которых служат Суворины и компания».

Чернышевский хорошо понимал создавшееся положение. Но «жаловаться» не входило в его привычки: цитированные слова — случайно вырвавшиеся признания, исключения в его переписке, искусно *стилизованной* под внешность полного спокойствия и удовлетворения. Эта внешность — тоже *маскировка* революционера, не желающего выдавать своих ран ни врагу, ни обывателю.

Иногда, однако, Чернышевский пытался вырваться из рамок навязанной ему работы литературного чернорабочего. Он пытается заговорить о переиздании для русского читателя энциклопедического словаря Брокгауза с соответственной переделкой его. Дорогу Чернышевскому переезжает Суворин — лакей Романовых. Он предлагает издателю вместо простого перевода «Всеобщей истории» немецкого националиста и штампованного профессора средней руки Вебера свою самостоятельную переработку той же темы *,— издатель отвечает требованием давать перевод немецкого текста. Тут дорогу Чернышевскому переехало лакейское почтение русского либерала к буржуазному немецкому гелертеру **. Так рушилась еще одна надежда Чернышевского: дать собственное изложение исторической эволюции человечества, тема, издавна его привлекающая и к которой он был подготовлен гораздо более немецкого профессора.

На перевод Вебера Чернышевский затратил 4 года и умер за корректурой XI тома. Он взялся за него за отсутствием какой-либо другой работы и продолжал потому, что эта работа кормила его и семью. Но Чернышевский был убежден, что Вербер не нужен русскому читателю, что пе-

---

* «Книга Вебера — дрянь, — писал Чернышевский издательству. Мне хотелось бы, пользуясь именем Вебера для устранения с обложки моего непригодного к печати имени, написать новый, мой рассказ о всеобщей истории». Эта работа Чернышевского была сорвана именно руководителями русского «прогрессивного» общества.

** «Издателем Вебера был К. Т. Солдатенков, относившийся к Чернышевскому несомненно благожелательно и бескорыстно. Но и он не мог не считаться с либеральным общественным мнением, упрекавшим Чернышевского — со страниц того же «Вестника Европы» — в непочтительной попытке «очистить» Вебера. А Чернышевский пытался очистить Вебера лишь от «реторического пустословия» да немецкого национализма.

ревод предоставлен ему только как благовидное прикрытие систематической субсидии со стороны богатого мецената.

В своих письмах, особенно относящихся к последним месяцам жизни, выбитый из бюджета серьезной болезнью старшего сына, Чернышевский рисует свое положение, как положение человека, живущего подаянием. Это было неверно. Перевод Вебера разошелся, покрыл расходы издателя и потребовал повторного издания. Однако это ничего не меняет в характеристике того положения, на которое обрекли Чернышевского после возвращения его из ссылки палачество правительства и гнусная позиция либералов.

Чтобы прикрыть собственное моральное и политическое ничтожество, либеральное народничество и народничествующий либерализм 80-х гг., создали легенду о том, что Чернышевский вернулся из Сибири отсталым, умственно ослабленным, негодным к работе чудаком. Это одна из самых подлых легенд. А между тем, ее распространяли даже такие несомненно искренние и лично чтившие Чернышевского люди, как В. Г. Короленко. Она проникла даже и в марксистскую печать.

В своих «Воспоминаниях о Чернышевском» (автор виделся с Н. Г. в августе 1889 г.) Короленко пытается по внешности «защитить» Чернышевского от тех, кто говорил, что «умственные способности его угасли», что у него «не все в порядке», но «защищает»-то он Чернышевского столь странными аргументами, что только способствует укреплению подобного предположения. Чернышевский-де «всегда был немножко чудак», во-первых; во-вторых, авторы подобных слухов не принимали-де в соображение, что Чернышевский «вернулся к нам из глубины 50-х и начала 60-х годов»; он, мол, «остался с прежними приемами мысли, с прежней верой в один только всеустроительный разум, с прежним пренебрежением к авторитетам», а мы «пережили за это время целое столетие опыта, разочарований, разбитых утопий и пришли к излишнему неверию в тот самый разум, перед которым преклонялись вначале». «Он не был ни разу в заседании гласного суда, ни разу в земском собрании!» А посему — «Чернышевского жизнь наша даже не задела. Она вся прошла вдали от него». Он остался попрежнему крайним рационалистом по приемам мысли, экономистом по ее основаниям!. А мы... мы — вслед за Н. К. Михайловским «вместо схем чисто экономических» увидели перед собой «целую перспективу законов и параллелей био-

логического характера, а игре экономических интересов отводили биолого-социологические параллели Михайловского», он «не хотел, да и не мог считаться с этой сложностью (с цароким «гласным» судом, с дворянским земством, с мелкобуржуазной, «субъективистской» путаницей властителей дум восьмидесятников, Михайловских и Кареевых) и требовал по-прежнему ясных, прямых, непосредственных выводов».

Ну, как же не «чудак», не «архаическая фигура», которой, конечно, надо простить ее «странности», но которой нечего делать среди «нас», далеко шагнувших от «наивных» мечтаний о крестьянской революции... к «гласным судам», «земским собраниям» и «сложной» философской эклетике Михайловского!

За этой характеристикой Короленко так и чуется «поумневший» восьмидесятник, придавленный дворянской реакцией, «легалист», приспособившийся к арене земства и цензурной печати, будущий кадет или энэс, сдавший в архив свои революционные увлечения и свою собственную политическую и идейную дряблость оправдывающий неожиданно открывшейся ему «сложностью» жизни. А Короленко был ведь один из лучших «восьмидесятников»! [188].

Легенде, своекорыстно распространявшейся теми самыми людьми, которые всячески мешали Чернышевскому проявить себя вновь в научно-литературной работе, бьет в лицо вся литературная деятельность Чернышевского в 1883 — 1889 гг. Дело не в «отсталости» Чернышевского, а в том, что действовавшее на легальной арене либерально-народническое общество, со своей публицистикой и журналистикой, всем своим идейно политическим уровнем *опустилось ниже* Чернышевского.

Вот как *тот же* В. Г. Короленко в 1888 году характеризовал в своем интимном дневнике господствовавшее направление общественной мысли:

«Народничество» — какое страшное слово и какая безобидная сущность! Народничество в одном фланге (Южаков) проповедует, что Россия есть «государство, построенное по мужицкому типу», что ей предстоит защищать народы, труд, рабочих всего мира, против английского ленд-лорда и всесветного капитализма, представляемого Европой, и посему Россия должна укреплять свои позиции в Болгарии (частичное подчинение) и других местах. В лице «Русского богатства» народничество вопиет о «непротивлении»,

в лице «Недели» шлет проклятия конституции и стоит за самодержавие. В лице В. В. и Пругавина выводит генезис государственного строя из общины, как из ячейки, а поелику, община — гениальное произведение народного творчества, то и развившееся из оной государство — чуть не идеально... И эта невиннейшая вещь являет некие опасности, и эта проповедь «смиренномудрия» считается «зловредной». Ирония судьбы!» [189].

Нельзя злее обрисовать *политическое и идейное разложение*, в котором застал передовые элементы русской интеллигенции вернувшийся из ссылки Чернышевский. Это были продукты распада некогда революционной идеологии. Беда была лишь в том, что «народничество» еще определяло господствующее настроение, а от его грядущих могильщиков, от марксистского подполья Чернышевский был отделен тысячью рогаток.

Ясно, что общество, которое жило подобными идеями, перед лицом вернувшегося из Сибири Чернышевского должно было или признать свое собственное ничтожество, или объявить Чернышевского «отсталым» стариком со «странностями». Повторим еще раз: «странности» Чернышевского были маскировкой презрения оставшегося верным себе социалиста и революционера к описанному так рельефно Короленко обществу с его земской работой, народнической социологией, толстовской философией и политической импотентностью, прикрываемой воздыханиями о социализме, растущем в крестьянской общине.

Чернышевский 80-х годов не только ни в чем не изменил ни себе, ни своему делу проповеди социализма и материализма, но и не проявил ни малейшего ослабления силы своего могучего ума. Об этом свидетельствуют и его статьи 1888—1889 гг., приложенные к переводу Вебера, в которых некоторые формулировки близко подходят к материалистическому истолкованию истории, и его предисловие к новому изданию «Эстетических отношений» — работа написанная в 1888 г. и которую Ленин в 1910 г. характеризовал как «замечательное рассуждение», — и его статья о дарвинизме (1888 г.), напоминающая аналогичные соображения Энгельса, и, наконец, его замечательные воспоминания о движении 60-х годов.

То, что мы имеем в этой области и что собрано во втором отделении III тома его «Литературного наследия», представляет, собственно, отрывки, точнее осколки более

обширной работы, о которой мечтал Чернышевский и которую он в одном из писем называет «обзором журналистики от 40-х до 60-х годов». Судя по сохранившимся отрывкам и по разбросанным в письмах намекам, эта работа должна была бы представлять собой выяснение и *реабилитацию* революционного движения 60-х годов. Именно эту задачу преследовал Чернышевский в своих воспоминаниях о Некрасове, Добролюбове, Тургеневе, студенческом комитете и его столкновение с Костомаровым, в замечаниях о Герцене и т. д.; эта же мысль руководила им в работе над материалами для биографии Добролюбова. Цензурные и материальные условия помешали Чернышевскому выполнить эту задачу. Но и те отрывки, которыми мы располагаем, показывают ясно, в каком направлении двигалась мысль Чернышевского в 80-х годах. Это — то же четкое, резкое отделение революционного движения от либерализма всех мастей, то же «плебейское» недоверие и презрение к «барскому» прогрессизму Тургеневых, тот же революционный, «мужицкий» — по слову Ленина — демократизм, противопоставленный всем видам благожелательного, идущего сверху реформизма. Эти «воспоминания», несмотря на всю их отрывчатость и цензурную сглаженность, не только неоценимый ключ к пониманию общественной борьбы 60-х годов, не только свидетельство поразительной памяти Чернышевского, но и свидетельство неостывших до самой смерти революционных стремлений их автора.

В истории мирового революционного движения много примеров героизма и самопожертвования, но во всей плеяде великих революционеров мира Чернышевский выделяется несгибаемостью своей воли, непреклонной верностью своим убеждениям, пронесенным через величайшие испытания.

Царизм и либерализм уготовили для своего непримиримого врага величайшую пытку, сравнительно с которой простое убийство было бы снисхождением к врагу. Перенести эту пытку, не сломившись, помогли Чернышевскому абсолютная уверенность в правильности защищавшегося им дела, вера в то, что сама пытка поднимает значение его заветов в среде трудящихся масс.

В 1853 году, почти за десять лет до ареста, в переломный момент своей личной жизни Чернышевский говорил:

«Я не знаю, сколько времени пробуду на свободе. Меня

каждый день могут взять. Какая будет тут моя роль? У меня ничего не найдут. Но подозрение против меня будет весьма сильное. Что же я буду делать? Сначала я буду молчать и молчать, но, наконец, когда ко мне будут приставать долго, это мне надоест и я выскажу свое мнение прямо и резко. И тогда я едва ли выйду из крепости».

Это исполнилось буквально. За десять лет до ареста Чернышевский предопределил свою судьбу. И затем двадцать семь лет — военнопленный царизма — он лишь строго и без колебания проводил линию поведения, заранее взвешенную и решенную.

Накануне смерти, оглядываясь на свою жизнь борца и мученика, Чернышевский, перечитывая письма своего любимого ученика и друга Добролюбова, нашел у последнего следующие строки:

«С потерей внешней возможности для деятельности, мы умрем, но умрем все-таки не даром».

Старый революционер взял перо и приписал для пояснения мысли Добролюбова:

Иди в огонь за честь отчизны,
За убежденье, за любовь...
Иди и гибни безупречно.
Умрешь не даром. Дело вечно,
Когда под ним струится кровь.

«Фамилия Чернышевских проклята богом», — писала О. С. Чернышевская во время пребывания Чернышевского в Сибири. О неизбежности своей гибели, если его дело не будет поддержано массовым революционным движением, Чернышевский знал и шел на это. Попав в плен к врагу, обрекшему его на гибель, он хотел только, чтобы гибель его была «безупречна»... Он погиб... Но только лично.

«Согласился ли бы я вычеркнуть из моей судьбы этот переворот, который повергнул тебя, — писал Чернышевский жене, — на целые девять лет [они растянулись на двадцать! — *Л. К.*], — в огорчения и лишения? За тебя я жалею, что было так, за себя самого — совершенно доволен. А думая о других, об этих десятках миллионов нищих, я радуюсь тому, что без моей воли и заслуги придано больше прежнего силы и авторитетности моему голосу, который зазвучит же когда-нибудь в защиту их».

Этот голос зазвучал в борьбе партии Ленина.

Вооружившись принципиально новым, совершенным ору-

жием познания и изменения социальных отношений, теорией научного социализма Маркса, партия пролетариата откинула все слабые стороны теоретической мысли Чернышевского, его непонимание развития производительных сил и классовой борьбы как ведущей силы истории, его рационализм, приводящий к переоценке «силы разума» в истории, его механицизм, заставляющий его иногда, в теории, высказываться за «мирные пути» развития, его восприятие крестьянства как единого целого, его утопические представления о путях развития человечества к социализму и т. д. Эти слабые стороны учения Чернышевского достались по праву в наследство мелкобуржуазному народничеству и дали последнему возможность с известным основанием считать его одним из своих отцов. Сильные же стороны мысли и деятельности Чернышевского были унаследованы партией пролетариата. Она училась, конечно, не у Чернышевского, а у Маркса, и с точки зрения Маркса она пересмотрела все положения Чернышевского. Она не считает Чернышевского ни марксистом, ни коммунистом, но она с гордостью отмечает в ряду предшественников победоносной пролетарской революции эту великую фигуру идеолога крестьянской революции, критика феодальной и капиталистической цивилизации, крупнейшего представителя домарксовского социализма.

Когда в Саратове 17 октября 1889 года умирал Чернышевский, в Самаре девятнадцатилетний Владимир Ульянов уже работал над организацией революции, осуществившей мечты и надежды великого мыслителя и борца.

БИБЛИОГРАФИЯ И ПРИМЕЧАНИЯ

Более или менее полное собрание сочинений Н. Г. Чернышевского появилось лишь после революции 1905 г. в десяти томах (X том в двух книгах), собранных сыном Н. Г., М. Н. Чернышевским. В дальнейшем ссылки на это издание обозначаем буквами — «П. с. с.».

В это собрание вошло, однако, далеко не все написанное Чернышевским.

Его письма из Сибири собраны в трех выпусках сборника «Чернышевский в Сибири» под редакцией Е. Ляцкого и М. Н. Чернышевского, издательство «Огни», СПБ., 1912—1913 гг. Это тщательно и любовно выполненное издание. В ссылках — «Ч. в С.».

В 1928—1930 гг. вышли три тома «Литературного наследия» Н. Г. Чернышевского. В I том вошла «Автобиография» (в двух вариантах) и «Дневники» Чернышевского за 1848—1853 гг., во II — его письма 1838—1883 гг., в III — письма 1883—1889 гг. и дополнительные материалы. В ссылках — «Л. н.».

«Дневник» Чернышевского в 1931—1932 гг. вышел отдельным изданием, в двух томах (ч. I — 1848 — 1849 гг.; ч. II — 1850—1853 гг.), под редакцией Н. А. Алексеева, в «Издательстве о-ва Политкаторжан». В ссылках — «Д. Ч.».

Не вошедшие в перечисленные издания отдельные статьи, письма, рассказы до сих пор не собраны и разбросаны в ряде сборников и журналов. Роман «Повесть в повести» вышел отдльным изданием в 1930 г. в «Издательстве политкаторжан».

Ряд работ Чернышевского перепечатан в более полном виде — без цензурных урезок — в «Избранных произведениях Н. Г. Ч.», т. IV и V, Гиз. 1929—1932; издание не закончено.

Общий обзор фактов жизни и деятельности Чернышевского дан в издании «Academia» — Летопись жизни Н. Г. Ч.», составлено Н. М. Чернышевской-Быстровой 1933 г.

Работы о Чернышевском либералов и народников — кроме чисто фактических и справочных — потеряли ныне всякое значение. Это относится и к страницам, посвященным Чернышевскому, в общих обзорах русской литературы и истории русской мысли, вышедших до 1917 г.

Из марксистов первым занялся Чернышевским Г. В. Плеханов. Его статьи, печатавшиеся в 1890—1892 гг. в женевском сборнике «Социал-демократ», в свое время сыграли значительную роль. В 1910 г. автор, переработав и дополнив их, издал их в виде отдельной монографии, вошедшей и в собрание его сочинений (издание ИМЭ, т. IV и V). Работа эта полна ошибок и в отдельных частях, особен-

но в оценке политической роли Чернышевского, устарела. Сплошным недоразумением является то, что писал о Чернышевском в своей «Истории» и в «Очерках по истории рев. движения» М. Н. Покровский. Ошибочность своего взгляда на Чернышевского признал впоследствии и сам автор (см. «К столетию со дня рождения Н. Г. Ч. Отчет о докладах в О-ве историков-марксистов», «Историк-марксист», том VIII, 1928 г., особенно стр. 150—151).

Самым полным обзором жизни, деятельности и учения Чернышевского является монография Ю. М. Стеклова — «Н. Г. Чернышевский», два тома, издание второе, Гиз, 1928 г. Как и большинству критиков работы Стеклова, мне кажется, что автор сильно преувеличивает степень теоретической близости Чернышевского к коммунизму и явно «модернизирует» Чернышевского. Во всяком случае — это самая обстоятельная и ценная из имеющихся работ о великом революционере. В своем очерке мы неоднократно прибегали к ее помощи. В ссылках мы обозначаем ее буквами «Ст.».

Высказывания Ленина о Чернышевском собраны в сб. «К юбилею Чернышевского», Саратов, 1928 и в издании Института Ленина «Ленин о Чернышевском» с предисловием и прим. А. Ломакина, 1928 г.

Полная библиография трудов о Чернышевском подготовляется учрежденным советским правительством «Домом-музеем» Н. Г. Чернышевского» в Саратове.

1. «Колокол» № 52 от 15 сентября 1859 г., стр. 430.
2. «Из автобиографии». «Л. н.», I, 63—64.
3. «Из автобиографии». «Л. н.», I, 15.
4. «Из автобиографии». «Л. н.», I, 58—60.
5. «Из автобиографии». «Л. н.», I, 81.
6-7. «Из автобиографии». «Л. н.», I, 8—9.
8. «Из автобиографии». «Л. н.», I, 4.
9. «Из автобиографии». «Л. н.», I, 107.
10. «Из автобиографии». «Л. н.», I, 114.
11. А. И. Герцен. Полное собрание сочинений под ред. Лемке, т. VIII, стр. 145.
12. «Материалы для истории упразднения крепостного состояния». Берлин, 1860, т. I, стр. 54.
13. «Л. н.», II, 58.
14. «Л. н.», II, 77.
15. Ф. М. Достоевский. Дневник писателя за 1876 г.
16. А. П. Милюков. «Литературные встречи и знакомства». СПБ. 1890.
17. А. Пыпин. «Мои заметки». «Вестник Европы», 1905, III, 9.
18. Ст. I, 13.
19. Е. Луцкий. «Н. Г. Чернышевский и И. И. Введенский». «Совр. мир», 1910, № 6, стр. 162.
20. А. И. Герцен. Полное собрание сочинений, под ред. Лемке, т. XVIII, стр. 35.
21. Все дальнейшие цитаты по «Дневнику» Чернышевского за 1848—1850 гг., впервые полностью опубликованному в расшифровке М. Н. Чернышевского и Н. А. Алексеева в 1928 г. в «Л. н.», т. I, а затем выпущенному отдельным изданием в двух томах, в 1931—1932 гг. «Изд-вом об-ва политкаторжан», под редакцией Н. А. Алексеева. Подлинник написан своеобразной тайнописью, придуманной для собственного употребления Чернышевским; это давало ему возмож-

ность вести свой дневник достаточно откровенно. Чтобы не пестрить книги ссылками не приводим страниц «Д. Ч.»; найти цитату легко по указываемой в каждом случае в тексте дате.

22. «Крестьянские движения 1827—1866 гг. «Изд. «Центрархив». М., 1930, в. 1, стр. 90—98

23. Там же, стр. 92.

24. И. Иваниюков. «Падение крепостного права в России». Спб. 1903, стр. 11

25. Письмо Кавелина Герцену. «Письма К. Д. Кавелина и Ив. С. Тургенева к А. И. Герцену». С объяснительными примечаниями М. Драгоманова, Женева, 1892 г., стр. 11.

26. Е. А. Белов. «Воспоминания о Чернышевском», «Известия Нижне-Волжского института краеведения», т. IV, Саратов, 1931 г., 147.

27. Там же, стр. 142.

28. Там же, стр. 146.

29. Взятые в кавычки слова — заглавия соответствующих работ Н. И. Костомарова, Д. Л. Мордовцева, Е. А. Белова, написанных или задуманных в Саратове в 50-х годах.

30. «Из автобиографии». «Л. н.», I, стр. 43.

31. «Дневник моих отношений с тою, которая составляет теперь мое счастье». «Д. Ч.». II, 117—118.

32. Там же, стр. 117.

33. Там же, стр. 197.

34. Там же, стр. 87—89.

35. Там же, стр. 144.

36. А. Кошелев. «Записки», Берлин, 1884, стр. 81—82.

37. Ленин. Сочинения, 2-е издание, IV, 126.

37а. А. С. Суворин. «Всякие. Очерки современной жизни». Первое издание вышло в 1866 г. и было уничтожено; цитирую по 2-му изданию 1907 г., стр. 112—113.

38. Волынский. «Русские критики». Спб. 1896, стр. 261—262.

39. В. Розанов. «Уединенное». Спб., 1912, стр. 42.

40. «Ч. в С.», II, 123.

41. П.с.с. X, 2, 166.

42. П.с.с. II, 232.

43. П.с.с., I, 328.

44. Первоначально в январской книжке «Современник» за 1861 г., П.с.с., VIII, 76.

45. П.с.с., IX, 241.

46. «Вестник Европы», 1911 г., кн. II, стр. 45. Курсив мой.

47. М. Н. Покровский. Русская история, т. IV, 1923, стр. 79.

48. «Письма К. Д. Кавелина и И. С. Тургенева к А. И. Герцену», Женева, 1892, стр. 154. Курсив Тургенева.

49. П.с.с., X, 1, «Пролог», стр. 91.

50. П.с.с., X, 1, «Пролог» стр. 177.

51. А. Лосицкий. Выкупная операция. Спб. 1906.

52. П.с.с., X, 1, «Пролог», стр. 164.

53. Ленин. Сочинения, 2-е изд. I, 179.

54. А. Лосицкий. Выкупная операция, Спб. 1906, стр. 16 прил., таб., I.

55. П.с.с., IV, 599, 562.

56. «Письма К. Д. Кавелина» и т. д., стр. 47.

57. Там же, стр. 57.
58. П.с.с. X, 1, «Пролог», стр. 214.
59. Ленин. Сочинения, 2-е изд., XV, 169.
60. Ленин. Сочинения, 2-е изд., I, 179, 180.

61. Имею в виду в первую очередь Г. В. Плеханова, который, пользуясь соответствующими словами Волгина в «Прологе» (П.с.с., т. X, 1, отд. 2, стр. 215), сначала заявил, что «молодой Чернышевский далеко не был принципиальным сторонником революции» (Сочинения Плеханова, т. IV, стр. 157—158), а затем эту «молодость» Чернышевского растянул до 1861 г.! Все это только подтверждает общую ошибочную установку работы Плеханова в вопросе об исторической роли Чернышевского; она страдает обычными его недостатками: антиисторизмом, неумением разобраться в конкретной обстановке, подменой диалектического анализа действительности механическим сопоставлением идей. Вся монография Плеханова о Чернышевском показывает, что ее автор не понял основного в Чернышевском, его значения как идеолога крестьянской революции в конкретной обстановке общественно-политического перелома 60-х годов.
62. «Л. н.», I, 497.

63. С. С. Татищев. «Император Александр II, Спб. 1907, стр. 350—355. Здесь воспроизведен ряд замечаний Александра II на докладе Ланского, среди которых находятся и цитированные в тексте слова. Они относятся к 1858 г.
64. Эти слова Чернышевским вложены в уста Волгина, П.с.с. X, 1, «Пролог», стр. 59.
65. П.с.с., X, 1, «Пролог», стр. 77.
66. М. Лемке. «Политические процессы в России в 60-х годах», Пет., 1923, стр. 318.
67. Прокламация «К барским крестьянам» перепечатана в т. IV «Избранных сочинений Чернышевского» у К. Н. Берковой «Н. Г. Чернышевский», М. 1925 и в ряде других изданий.
68. П.с.с., V, 406—408.
69. Ленин. Сочинения, 2-е изд., I, 164.
70. «Капитал», т. I, изд. 1909 г., стр. XXIII.
71. «Л. н.» II, 331.
72. П.с.с., II, 185.
73. Ленин. Сочинения, 2-е изд., XIII, 295.
74. К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, XIV, 642.

75. Термины и положения в этом абзаце взяты из основной философской статьи Чернышевского «Антропологический принцип в философии» (написана в 1860 г., П.с.с., VI) и из его писем из Сибири от 21 июля и 15 сентября 1876 г. («Ч. в С.», II).
76. «Ч. в С.», II, 46.
77. К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, III, 160.
78. Ленин. Сочинения, XIII, 295 и XVII, 224.
79. П.с.с., VI, 323—333.
80. Ленин. Сочинения, XIII, 295.
81. П.с.с., X, 2, стр. 173—174.
82. Ленинский сборник, XII, 91.
83. Эти замечательные строки находятся как раз в основной философской статье Чернышевского: «Антропологический принцип в философии». П.с.с., VI, 205—206.
84. П.с.с., 1, 40. Следует заметить, что этот и следующий параг-

графы в расширенном виде составили содержание моей статьи об эстетических взглядах и литературно-критической деятельности Чернышевского в сб. «Очерки по истории русской критики», т. II, Гиз. 1931.

85. Фейербах. Сочинения, Гиз, 1923. I, 71.
86. П.с.с., X, 2, стр. 148—149.
87. Там же, 157—158.
88 Там же, 159.
89. Имею в виду тот совершенно неправильный упрек, который бросает Чернышевскому Л. И. Аксельрод-Ортодокс в своей статье «Эстетика Чернышевского» («Вестник Коммунистической академии», № 34, 1929 г.). Л. И. Аксельрод так же плохо поняла Чернышевского, как и Плеханов.
90. П.с.с., X, 2, стр. 149.
91. П.с.с., X, 2, стр. 155.
92. Ленинский сборник, XII, 101.
93. П.с.с., X, 2, стр. 89—90.
94. П.с.с., X, 2, стр. 161.
95. П.с.с., X, стр. 2, 187.
96. К. Маркс. «К критике политической экономии». ИМЭ, стр. 49.
97. В. С. Соловьев. Сочинения, 2-е изд., VII, 74, 77.
98. Энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона. Том 41, статья «Эстетика».
99. «Ч. в С.», III, 150.
100. П.с.с. VIII, 128.
101. «Л. н.», II, 336.
102. П.с.с., II, 642—643.
103. П.с.с., III, 6—7.
104. П.с.с., III, 129.
105. П.с.с., VIII, 342—343.
106. П.с.с., VI, 282.
107. «Ч. в С.», II, 200.
108. П.с.с., VIII, 359.
109. П.с.с. 1, 100.
110. П.с.с., II, 538.
111. «Л. н.», II, 330.
112. П.с.с., X, 1, «Пролог», стр. 173.
113. П.с.с., IX, 241.
114. П.с.с., VIII, 387.
115. П.с.с., V, 405.
116. «Л. н.», II, 432—433.
117. Там же, стр. 434.
118. Там же, стр. 436.
119. В отличие от предыдущих и последующих цитат, эти слова Тургенева взяты не из его рукописей, а из воспоминаний жены Некрасова, друга Чернышевского и Добролюбова — А. Я. Панаевой. Поручиться за буквальную точность передачи слов Тургенева, конечно, нельзя. Но нет никакого сомнения, что общий тон и содержание отзывов Тургенева о Чернышевском и Добролюбове переданы Панаевой правильно.
120. «Колокол», № 64 от 1 марта 1860 г., стр. 533.
121. Там же, стр. 532.
122. «Л. н.», III, 27.
123. «Л. н.», III, 29.

124. «Л. н.», II, 366.
125. «Л. н.», III, 474.
126. Ленин. Сочинения, XVIII, 342.
127. «Л. н.», II, 438.
128. «Л. н.», II, 414—416.
129. «Л. н.», II, 411.
130. Цитирую по Стеклову, II, 462.
131. Ст., II, 437.
132. Ст., II, 436.
133. Ст., II, 456.
134. В. А. Пыпина. «Любовь в жизни Чернышевского». Л., 1923, ст. 65.
135. В. С. Соловьев. Письма, т. I. Приложение «Из литературных воспоминаний. Н. Г. Чернышевский», Спб., 1908, стр. 271—282.
136. Указанная работа В. А. Пыпиной, стр. 63.
137. Н. В. Рейнгардт. «Н. Г. Чернышевский», «Русская старина», 1905 г., № 2.
138. В. Я. Кокосов. «Рассказы о Карийской каторге». Изд. ред. жур. «Русское богатство». Спб., 1907, стр. 295.
139. М. П. Сажин. «Воспоминания», М., 1925.
140. «Колокол», № 186. 15 июня 1864 г., стр. 1525.
141. «Колокол», № 189, 15 сентября 1864 г., стр. 1550.
142. «Л. н.», II, 411—412.
143. «Ч. в С.», II, 31.
144. Г. А. Лопатин. Сборник, Гиз, 1922, стр. 71.
145. «Л. н.», III, 331.
146. «Л. н.» III, 263.
147. «Ч. в С.», I, 17.
148. «Л. н.», II, 424.
149. «Повесть в повести», «Изд-ство политкаторжан». М. 1930, стр. 490.
150. См. последнее издание «Что делать?» в «Избранных произведениях Н. Г. Ч.» т. V, Гиз, 1932, стр. 279.
151. Слова эти написаны, таким образом, в 1889, а не в 1911 г., как полагают редакторы и авторы вступительных статей к последнему переизданию «Что делать?» (V т. «Избранных сочинений» Чернышевского, выпускаемых «Комиссией ЦИК СССР по ознаменованию столетия со дня рождения Н. Г. Чернышевского и Коммунистической академией СССР», Гиз, 1932, стр. 24). В подобном издании можно было бы ожидать казалось, особой тщательности. Между тем, именно в 1911 г. Плеханов вычеркнул эти слова, написанные им в 1889 г.
152. Сводку критических откликов на «Что делать?» см. в брошюре Н. Бродского «Н. Г. Чернышевский и читатели 60-х годов», М., 1914, а также в работе Г. Берлинера «Н. Г. Чернышевский и его литературные враги», Гиз, 1930. Последняя работа дает сводный обзор литературной борьбы против Чернышевского с самого начала литературной деятельности последнего и оперирует свежим и интересным материалом; борьбе вокруг «Что делать?» посвящены X и XII главы работы Берлинера.
153. П. А. Кропоткин. «Идеалы и действительность в русской литературе». Спб., 1907, стр. 305—307.
154. См. указанную выше работу Н. Бродского, стр. 25—26.

155. Н. Страхов «Счастливые люди», статья в журнале «Библиотека для чтения», 1865 г., № 7—8.
156. Ленин. Сочинения, 2-е изд., I, стр. 179.
157. Со слов самого А. К. Толстого разговор этот воспроизведен в газ. «Новое время», 1904 г., № 10321.
158. В. Богучарский, «Государственные преступления в России», т. I, стр. 146.
159. М. Н. Чернышевский. «Чернышевский в Вилюйске». «Былое», 1924 г., № 25.
160. Ст., II, 516.
161. «Ч. в С.», I, 11.
162. Из доклада Шувалова, напечатанного в указанной в № 159 статье М. Н. Чернышевского.
163. Документ впервые напечатан Ю. Стекловым в статье «Вокруг ссылки Чернышевского» в «Каторге и ссылке», 1927 г., № 4—5.
164. «Ч. в С.», I, 24.
165. Е. Брешковская. «Из моих воспоминаний». Спб. 1906, стр. 30.
166. П. Ф. Николаев. «Личные воспоминания о пребывании Н. Г. Чернышевского в каторге». М., 1906 г., стр. 18—19.
167. Рассказ записан В. Кокосовым. См. его «Рассказы о Карийской каторге». Спб., 1907, стр. 305—308.
168. Цитаты по подлинным документам приведены у Стеклова, II, 530.
169. «Ч. в С.», 1, 32—33.
170. П.с.с., II, 528.
171. В. Розанов. «Уединенное» Спб. 1912, стр. 43—46.
171а. М. Е. Салтыков-Щедрин. Письма. Л. 1924 г., стр. 111—112.
172. В прекрасном издании «Огней» (1912—1913 гг.) письма Чернышевского из Сибири составили три выпуска; в более компактном издании они составят небольшой томик.
173. «Ч. в С.», II, 127—131.
174. «Ч. в С.», II, 126.
175. «Ч. в С.» I, 23.
176. «Ч. в С.», I, 185. Подчеркивания сделаны самой Ольгой Сократовной.
177. В. Кокосов. «Рассказы о Карийской каторге» стр. 315—316. «Русское богатство», 1905 г., № 11—12.
178. Н. Николадзе. «Освобождение Н. Г. Чернышевского». «Былое», 1906 г., № 9.
179. «Л. н.», III, 195.
180. Письмо А. В. Захарьина от 27 ноября 1884 г., «Л. н.», III, 573.
181. Н. И. Костомаров. «Автобиография». Изд. «Задруга», стр. 328.
182. «Л. н.», III, 344.
183. «Л. н.», III, 52.
184. «Л. н.», III, 331 и 400.
185. «Л. н.», III, 96.
186. «Л. н.», III, 156.
187. Это письмо написано за три недели до смерти. «Л. н.», III, 449.
188. В. Короленко. «Воспоминания о Чернышевском». Впервые напечатано отдельной брошюрой в Лондоне в 1894 г. Затем вошло в сборник автора «Отошедшие» и в собрание его сочинений.
189. В. Короленко. «Дневник» т. I, Укргиз.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Стр.

От автора 3

I. Завязанный узел

1. Между Саратовым и Петербургом 5
2. Саратов 11
3. Петербург 14

II. Борьба идей

1. В петербургском подполье 18
2. Между Христом и Гегелем, между абсолютизмом и социализмом 24

III. В глубине России 37

IV. На перекрестке исторических дорог

1. Ситуация 44
2. Реформа или революция? 53
3. План революционного переворота 65
4. Программа революции 78

V. Переоценка ценностей

1. Философия 82
2. Эстетика 94
3. Литература 112

VI. Под обстрелом

1. 130
2. 135
3. 140
4. 144

VII. Военнопленный 147

VIII. Чужим оружием 161

IX. Огонь под спудом

1. 170
2. 174
3. 187

Библиография и примечания 201

Цена 2 руб.

ЗАКАЗЫ НАПРАВЛЯТЬ:

Во все магазины и киоски Когиза. Почтовые заказы направлять без задатка: Москва, Блюхеровский пер., 8, Могиз „Книга—почтой".

СКЛАД ИЗДАНИЯ:

Сектор партийной и комсомольской литературы Когиза.
Москва, Блюхеровский пер., 8.